

Константин
Кешик



КОРАБЛЬ КОРОЛЕЙ

Роман

НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО

Досточтимый читатель!

Надеюсь, ты не особенно огорчишься, если свою долгожданную и смиренную прозу я позволю себе начать небольшой цитатой из Пушкина: «Смею заверить, что время в моём романе расчислено по календарю». Нет, дорогой друг, читая мой роман, заглядывать проверочно в календарь и расчислять время не имеет смысла. Здесь присутствуют иные временные сроки, иной подённый расклад. Также нет необходимости листать биографические справочники, тревожить солидные энциклопедические тома. Пусть они благополучно продолжают коротать свой век на полках библиотечных шкафов, потому что «Корабль королей» и его действующие лица окружены, по счастливому выражению одного старинного литератора, «равномерным сиянием вымысла».

Зато смею заверить, что при помощи «корабельных метафор и сравнений» автор стремился не погрешить против истины, рассказывая об эпохе, современником которой являлся, о людях, с которыми, так или иначе, протекли многие годы знакомства, дружества, бескорыстной любви, но и непримиримой, неостывающей ненависти тоже.

Итак, на пороге повествования первый романый герой. Может быть, он станет главным, продолжит действовать во всех главах, пока на последней странице не возникнет долгожданное слово «Конец». Не знаю, не знаю... Но для начала есть смысл просто познакомиться.

НЕКОТОРЫЕ ПЕРСОНАЖИ

Пробегавший мимо голубого пластмассового столика официант демисезонного кафе «Лебединый стан», что разместилось в Почтовом парке, в который раз сурово-неодобрительно покосился на одинокую блёкло-коричневую бутылку с канцелярски-казённой овальной наклейкой «Пиво жигулёвское». Посетитель лет пятидесяти с внешностью, по снисходительному выражению ресторанной obsługi,



«бухгалтера в отпуске», расслабленно сидел на железном стуле, спиной к небольшому прямоугольнику садового пруда, посередине которого разместился островок, а на нём – невысокая берёза в полноценном осеннем наряде, словно именно она послужила главной натурщицей для картины Левитана «Золотая осень».

Андрей Георгиевич – именно так именовали гладко, до блеска выбритого, зато по-вокзальному лохматого клиента – обеими ладонями крестьянской величины обнимал толстый гранёный стакан, время от времени отхлёбывая из него по крохотному глотку того самого общепитовского «жигулёвского». «Неприбыльный товарищ», – с огорчением подвёл служающий итоги своего профессионального наблюдения. И безмолвное, и пока безденежное общение с посетителем продолжалось.

Да, официант не ошибся: «неприбыльный» и зверски проголодавшийся Андрей Георгиевич до того, как он сегодня занял клиентское место на казённом железном стуле, имел неудовольствие бесполезно протянуть в заветное почтовое окошко с надписью «До востребования» «краснокожую паспортину» и получить ответ, что переводов нет, а письмо выдали. «Можете не писать хоть сто лет, но где, я вас спрашиваю, документ с заветной подписью «сумма прописью»? Старший современник нашего героя в подобных случаях имел обыкновение лаконично и бескомпромиссно телеграфировать: «Вашу мать беспокоит отсутствие денег».

Андрей Георгиевич, приехавший утренним московским поездом, сейчас не просто неторопливо и без особой радости ворошил в душе воспоминания о прежнем пребывании в Яблоневоградском граде (поверьте, что записать таковые – хватило бы долговременной работы Тациту, Плутарху, Нестору и Пимену, этой воображаемой кватриге великих летописцев), но подждал Льва Борисовича Тальдмана – главного художника здешнего русского драматического театра. По совместительству он читал курс истории искусств на филологическом факультете местного университета.

Добрый старый знакомец запаздывал. «Всё понятно, – с безобидно-грубоватой усмешкой думал Андрей Георгиевич, – лектор-златоуст, почтительно упомянувший длинноволосую (единственная одежда страдальцы) юную испанку, что томилась в инквизиционном узилище, закономерно перешёл к обнажённым красавицам Рубенса, Ренуара и Кустодиева». «Эротикой с университетскими приправами» именовал подобные экскурсии в историю живописи давний знакомец Стержикова – Лев Борисович.

Зарубежные и русские красавицы – красавицами, однако в Яблоневоградском граде Андрея Георгиевича привели иные заботы. Некогда, в довоенной жизни, «когда ещё он не пил слёз из чаши бытия», в Ленинграде при посещении художественной мастерской в Кировском театре привелось ему познакомиться с художником спектакля, неким Василием Говоровым. По правде говоря, новый знакомец числился – и справедливо – подмастерьем. Главной художественной персоной он не являлся, но исполнительный подмастерье был, что называется, мастер на все руки и на все случаи жизни, предвиденные и непредвиденные. И краски тёр, и холсты натягивал, и за всевозможными пособиями в разные книгохранилища опрометью мчался, и натурщиков подыскивал и поставлял, а заодно, как стало ведомо Стержикову намного позднее, между делом собрал кое-какой архив петербургско-ленинградской художественной элиты, так как был ещё по душе искусствоведом от Бога.

Архивариус-любитель Говоров собирал эскизы законченных картин, переснимал завершённые полотна на чёрно-белую плёнку и мог по памяти воспроизвести краски оригинала и наслаждаться зрелищем шедевров музейно-раритетного образца. Небольшая комнатёнка Василия была заполнена полотнами и папками. Андрей

Георгиевич, разменявший четверть от желательных ста годков жизненного срока, подружился с Говоровым, который, как оказалось, ещё и поклонник классической музыки. Меломану заслуженно повезло – служить в Кировском театре, что в дореволюционные годы именовался «Императорским». Столь благополучно устроенная жизнь благородного фанатика искусства оборвалась с началом войны. Последним эшелонам, в составе Ленинградской киностудии, Говорову удалось эвакуироваться в Азию. Коллекция осталась в его комнатёнке, кроме одной картины.

Впрочем, о живописи и музыке, и преданном поклоннике разнообразных муз, будем верить, всё-таки пойдёт речь на дальнейших страницах «Корабля королей». Тогда, скорее всего, и состоится разговор более подробный. Вот только не наскучить бы достопамятному читателю.

А пока вернёмся в Почтовый парк.

Тем временем, к шаткому голубому столику подходил спортивного облика провинциальный аристократ, и какое же спокойное благородство сквозило во всём – в его размеренной поступи, в демократической, простонародно-высокомерной царственности взгляда, разумеется, никого не оскорблявшего, но лишь надменно-простоудушно устанавливавшего дистанцию. Даже в лёгкой сутулости явственно чувствовалось нечто артистическое. Конечно, конечно, это происходило явление божества народу, как здешнему, окружающему, так и отсутствующему, явление неповторимого, неоспоримо единственного в столичном театральном-художественном мире Льва Борисовича Тальдмана!

Разумеется, Дон Кихота среди простолюдинов сопровождал почтительный конвой, весьма милостивый. Две очаровательных девицы невзначай, как бы, между прочим, демонстрировали не только симпатичные молодые лица и стройные фигуры, но и строгий вкус рыцаря эlegantного образа. Одна – сухошавая, к которой вполне подошло бы определение «породистая», слегка наклонившись в сторону Льва Борисовича, мерно шагала с ним рядом. Короткая стрижка, толстый серый свитер из гардероба, правда, не совсем осеннего, поскольку имелись на шерстяной поверхности высокорогие олени; они, несомненно, были из свиты Деда Мороза и навевали память о новогодней стуже и прочих зимних прелестях. Юная дама довольно-таки сдержанно отзывалась на речи аристократа-коренника в приближавшейся тройке.

Другая девушка, очевидно, ближайшая подруга строгой красавицы, чувствовала себя не совсем в своей тарелке: она то чуть приотставала, то немного опережала вдохновенного мэтра и его неулыбчивую спутницу. Она-то как раз была одета вполне по моде и по погоде: тёмно-синее демисезонное пальто, умеренно пёстрый, с деликатным намёком на послелекционную жизнь, шарфик и опять-таки тёмно-синий (цветной ансамбль высшего шика!) модный полувоенный картуз с весело блестящим чёрным лаковым козырьком.

Группа приблизилась к вежливо приподнявшемуся навстречу Андрею Георгиевичу. Последовала стремительная процедура уличного знакомства. Маргаритой назвалась первая, Кариной – вторая. Тальдмана представлять не понадобилось: пусть Андрей Георгиевич не видел Льва Борисовича чуть меньше десяти лет, но такие поджарые молодцы со старостью в уважительных отношениях. Им как-то удаётся держаться подальше от суровых примет преклонного возраста.

По профессиональным взглядам официанта, утратившим пренебрежительное снисхождение, можно было догадаться, что шансы Стержикова покинуть разряд «неприбыльных товарищей» значительно повысились. Тем более, что долгое одиночество не блещущего щедростью клиента вполне могло вот-вот прекратиться. И служитель кафе приготовился окружить пустынный столик с бутылкой-сиротой

дополнительными железными сиденьями. Впрочем, вскоре прилежному общепитовскому работнику в белой куртке не первой свежести пришлось разочарованно наблюдать, как Лев Борисович вкупе с Маргаритой и Кариной забирает клиента, с сожалением оглянувшегося на недопитый стакан. Рядом со стаканом и непрозрачной коричневой бутылкой легла девственно-новенькая купюра, словно сейчас сошедшая с типографского станка. Довольно-таки слабое утешение, поскольку сей банковский билет оказался небольшого достоинства.

Оставив за собой мимолётный и малопредметный ресторанный натюрморт и огорчённого «человека из ресторана», Стержиков вместе со Львом Борисовичем и сопровождающими девушками отправились вглубь Почтового парка.

Пока смешанный осенний квартет бредёт по парковым дорожкам в поисках затенённой скамейки, займётся кратким жизнеописанием Андрея Стержикова: как-никак он самым первым появился на страницах нашего повествования. Единственный сын известного московского психиатра наотрез отказался стать продолжателем отцовской профессии целителя душевных недугов. Ему пришлось многократно повторять всем и каждому, что не любому представителю семейства предназначено попадать в законные наследники профессии, тем более против воли, пока, в конце концов, самонадеянного бунтаря и строптивца не оставили в покое, чему успешно способствовало то обстоятельство, что златоглавый первопрестольный град решительно подвинул впечатлительного юношу на занятия лингвистикой и литературой.

Отец, оставшийся без наследника, время от времени вынужденно заключал: «Ежели не психиатрия, то хотя бы прочное деловое общение с рейсшиной, листами ватманской бумаги и набором фирменных карандашей «Koh-i-Noor» с целью практического применения знаний, приобретённых в постижении секретов и тайн всемирного зодчества... Это прибыльней и безопасней». Андрей, который не дотягивал до двух десятков лет каких-то два года, ни за что не хотел отказаться от увлечённости языками: как говорится, охота пуше неволи. Но главное – желал выразить на русском языке собственные пристрастия и благодарность художественному миру, окружавшему его. Стержиков, как рыба в воде, чувствовал себя в мире музыки, литературы, живописи, общался со многими прославленными корифеями любимых дисциплин. Он свято верил, что жизнь – это бесконечный и необозримый праздник искусства.

Пройти мимо архитектуры также никак не представлялось возможным.

«Вагнер... Какой такой Вагнер? Кто сказал «Вагнер»? «Не помните ли вы, как красива в «Нибелунгах» мелодия меча?»

И юный Андрей Георгиевич стал озираться, будто он попал на Сорочинскую ярмарку, а там показался кусок *красной свитки*.

Вровень с интеллектуальными исканиями молодого Андрея можно было признать только театральные события. Когда Стержиков занимал место в зрительном зале, когда, словно по незримому волшебному знаку, половины занавеса расходились в противоположные стороны, для юного театра начинались самые счастливые мгновения.

Причём, неважно, что происходило на сцене, Андрей всё равно немедленно оказывался там. Он с лёгкостью побывал отважным Щелкунчиком, сражающимся с противной Мышильдой; рыцарем печального образа, храбро бросающимся в

сражение с ветряными мельницами; алхимиком-интеллектуалом Фаустом, изобретателем эликсира вечной молодости.

Всё же Стержиков догадывался, что обретение волшебного средства заманчиво, однако неосуществимо. И никакой Мефистофель здесь не помощник. Даже несчастным Валентином, вступившимся за честь сестры и принявшим смерть от дьявольской шпаги, чувствовал себя Андрей.

Пожалуй, именно спектакли стали самой действенной, самой полезной школой взросления для подростка и юноши. Постепенно он пришёл к пониманию, что добропорядочность семейного устройства не полностью соответствует его ранее сформировавшимся представлениям. По большей части жизнь семьи протекала напоказ, просто старательно соблюдались приличия.

Действительность в её неприкрашенном виде обнажалась не сразу. Не сразу стало очевидным, что отец тяготится практической профессией врача-психиатра. Что его отношения с матерью нельзя назвать благополучными. После смерти дедушки – малоземельного новороссийского помещика – семья добропорядочного московского врача оказалась на грани нищеты. Наследство оказалось обременённым такими неподъёмными долгами, что принять его было невозможно. Приходилось начинать другую жизнь: дворянство с еврейскими и польскими корнями мешало приобрести медицинскую профессию. А после революции можно было вообще попасть в изгой.

Пришлось сменить фамилию и так надёжно спрятать подлинные родословные, что Стержиков-младший ничего не знал об этом до семнадцати лет.

Семья нашла место, где имелась возможность получить опыт практикующего врача, и попала в губернский Саратов.

...Когда Стержиков прочитал в списке принятых на филологический факультет Московского университета своё имя, он, взволнованный до глубины души, прошёл до скамьи перед университетским фасадом с чувством, что избежал большой жизненной беды.

Позади остались спрессованные в тяжёлый слиток годы. Когда они начинались и продолжались, юноша получил неожиданный отцовский совет: держаться как можно дальше от профессии психиатра. Отец обречённо говорил «Всю Россию не вылечишь – повальное помешательство».

Однажды Стержикова-старшего пригласили на консультацию по поводу бессонницы председателя губревкома. На почве ранений в голову у председателя стояли «мальчики кровавые в глазах». За профессиональную консультацию и предложение лечиться от черепного давления Георгия Стержикова чуть не расстреляли.

Желание отца спастись в провинции кончилось плохо. Пришлось вернуться в Москву. Возвращение получилось очень своевременным. Стержиков-старший получил письмо от своего учителя Бехтерева. Крупный медицинский авторитет приглашал талантливого ученика стать сотрудником лаборатории при Институте мозга.

Бехтерев доверительно писал: «Коллега, великий Гёте поручил мудрому Мефистофелю утверждать генеральный тезис о сухости теории и о вечно зеленеющем древе жизни. Тем не менее практика психиатра во времена неслыханных мятежей и невиданных перемен обильно полита кровью. Так что советую безотлагательно воспользоваться спасительным шансом и заняться теоретическими разработками. На моей кафедре есть вакансия...

Не страшитесь переезда в Ленинград. Для нашей специальности здесь условия лучше, чем где бы то ни было. И у традиции более глубокие корни».

Стержиков-старший, давно расставшийся с подлинной фамилией, воспользовался.

Отец с матерью разошлись. Теперь москвичи – Андрей и мать – обретались в громадной коммуналке бывшего купеческого дома, колоссальной многонаселённой скалой укрепившегося в центре Москвы. Они существовали на мизерное вспомоществование Андрею как выдвигенцу. И радовались просторной комнате, за наружной дверью которой жилец, обходясь без крыльца и лестницы, попадал прямо на улицу.

Стержиков совершенно не веселило восторженно-молодёжное восприятие жизни товарищей по социальному положению. Под разными предложениями он, без особо существенных последствий, избегал бурных, пусть и весьма толковых собраний, часами засиживался в библиотеке, над раскрытой книгой задумывался о будущем, чьи туманные очертания никак не стремились обрести желанную ясность.

ЯЗЫК ВЫДАЁТ ТЕБЯ С ГОЛОВОЙ

Второкурсник Стержиков пишет курсовую работу о Шекспире. Неожиданно преподаватель обнаруживает у него знание английского языка на высоком уровне.

– Ещё какие языки знаешь?

– Немецкий.

– Надо работать. Поищи критику на немецком.

Восторг преподавателя чуть не перевернул всю конспирацию. Сокурсники, из зависти и примитивного патриотизма склонные к доносам, сообщают декану-выдвигенцу о буржуазных замашках Стержикова, скрывавшего знание иностранных языков.

Стержиков, больной ангиной, хотел пойти на Красную площадь, на митинг.. Мать не пустила. Андрея проработали на собрании, однако медицинская справка, которую долго рассматривали в деканате, остановила преследование за неуважение к вождям.

Андрей вхож в дома университетских преподавателей – представителей старой интеллигенции, но на курсе, как изгой. Документы самые подходящие, тем не менее, манеры не из той оперы. Однако театры, литературные вечера, Маяковский – всё это касается Стержикова в высшей мере. Как и библиотека, где он встречается с девушкой, первокурсницей филологического факультета; она учится на классическом отделении; здесь преподают греческий и латинский языки, античную литературу; сама она – дочь преподавателя латинского языка.

К тому же она знает английский и французский языки, так что им есть о чём поговорить.

Андрей влюблён впервые и задумал смыться с новейшей литературы на классическое отделение, чтобы принести себя в жертву красоте и начитанности девушки. А пуще всего – стоять рядом неразлучно.

Отец девушки не советует ему это делать. Ещё год – и четвёртый курс! Это – везение. Надо курс окончить, сдать дипломное сочинение и получить работу хотя бы в школе. Оторваться от бесноватой молодёжной команды на факультете. Эта команда мечтает о партийной работе, но пока она промышляет работой разведывательной.

Стержиков – «белая ворона». На комсомольском собрании его исключают из комсомола за презрение к коллективу. Едва улаженный конфликт, завершившийся двухмесячным испытательным сроком, взрывается с новой силой: в ход идёт всё – то, что не пошёл на Красную площадь, то, что никому неизвестны его контрреволюционные мысли, что он – какой-то осколок буржуазного образца... предъявляют и прочие абстрактные обвинения.

Арестовали Андрея прямо на собрании. Допрашивали в ОГПУ совершенно не по делу. Стержиков помнил свою тайну и знал, что никогда никому, даже любимой девушке, не раскроет своего происхождения.

А про себя думал: «Новый Лжедмитрий явился. Эта неудобная филологическая ассоциация постоянно вызывает комплексы, крушит мироощущение. Но «польская красавица» не выманит его тайны». На допросе Андрей спокойно отвечает на все вопросы: что родился в Москве, социальное происхождение – из мещан, отец работал фельдшером, мать – швея.

Через три дня студента выпустили, но он видел Дзержинского, и он – знал всё.

Дзержинский орал:

– Гоните в шею! Поймали контру! На транспорте – сплошной ужас: хищения, бесхозяйственность. Хищения из вагонов, в кассах и на складах, при подрядах и на заготовках. Надо иметь крепкие нервы и волю, чтобы преодолеть это море разгула. Что он украл? Кто донёс, тот украл время у ОГПУ. Доносчика дайте мне, допрошу его сам. Повезло тебе, Стержиков, на этот раз. Живи пока, а как переловим контру, так и тебя научим пролетарской солидарности.

Окончить университет Стержикову не дали.

Выпустили со справкой в самом начале четвёртого курса и направили на два года в одну из школ Казахской АССР, для подтверждения лояльности советской власти и для верного направления жизненной линии. В направлении записали, что при получении от местной власти хорошей характеристики, в университете восстановят.

Мать Андрея слегла, но медлить с отъездом было нельзя.

За собой Стержиков не чувствовал никакой вины и с некоторым облегчением собирал в дорогу немногие пожитки. Девушка провожала Андрея на вокзале. Он хорохорился, что рад путешествию, обещал писать и просил писать.

Поезд до Омска шёл медленно. «Начинаю путешествовать по местам Достоевского» – думал Стержиков. О любой мелочи он мог думать только возвышенно: Андрей всё ещё верил в своё высокое предназначение.

До Петропавловска надо было добираться чуть ли не на волах. А Петропавловская школа перевела на дорогу ничтожно маленькие деньги. Стержиков рядился за каждую копейку, разыскивал местных чиновников, предъявлял назначение – это срабатывало. Даже подводы высылали и кормили, пока он не прибыл на место.

УЧИТЕЛЬСТВО – СТРАШНЫЙ СОН

Директор школы – Базарбай Саматович. В нём чувствовалась крепкая советская закалка. Он сказал Андрею:

– Ты, Стержиков, из Москвы. Будешь преподавать историю советской власти. Без литературы как-нибудь обойдёмся; ты разъясни своим ученикам, что такое советская власть, разъясни, как хорош коммунизм, который они-то и построят.

Ученики приходили к Стержикову домой, однако обучать их при существующей разрухе, при нищете – трудно. А тут ещё школьников всех возрастов отправляют на сельскохозяйственные работы в любое время года. Так что на учение времени почти не остаётся. И никакой надежды, что кто-либо из учеников когда-нибудь станет филологом.

Провинциальная жизнь шла своим чередом, но тем временем переписка со студенткой классического отделения постепенно прекратилась.

НАЧАЛО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ

... 1928 год... Стержиков возвращается в университет и сразу зачисляется на романо-германское отделение; через два года он заканчивает обучение. Андрея Георгиевича оставляют на годичную стажировку. После неё он поступает в аспирантуру. В Москве Стержикову не пришлось узнать ужасы коллективизации. Как аспиранту ему приходилось постоянно посещать курсы политграмоты. Конечно он тяготился этими обязательными посещениями, но демонстративно ничего не предпринимал.

Однако театральная жизнь казалась Андрею Георгиевичу более интересным, более осмысленным занятием, и он забросил аспирантуру, начал писать в газеты и журналы рецензии на спектакли и вечера художественного чтения. Понемногу такие отзывы становились всё более подробными, всё более профессиональными.

Теперь Стержикова-критика не забывали приглашать на генеральные репетиции. Он познакомился с режиссёрами и актёрами. Они любезно отзывались о его статьях, особенно оценив сочувственные или остро полемические разборы комедийных представлений. Автор «Квадратуры круга» Валентин Катаев в знак благодарности подарил Андрею Георгиевичу его карандашный портрет работы одного из карикатуристов «Гудка». Михаил Булгаков к материалу о «Зойкиной квартире» отнёсся не столь благосклонно: когда Стержиков встретил Михаила Афанасьевича на прогоне «Бронепоезда 14-69» Всеволода Иванова, Булгаков, блеснув хрустально сверкающими стёклышками пенсне, посмотрел на присяжного рецензента таким взглядом, что Андрей Георгиевич зарёкся, когда бы то ни было что-либо писать о Булгакове и о его сочинениях любого рода.

Впрочем, все эти мелочи театральной жизни не помешали Стержикову неизменно участвовать в публичных обсуждениях после прогонов нового спектакля, в оглушительных диспутах, порой проходивших там, где он не так давно слушал лекции университетских преподавателей. Иной раз в часы театрального разъезда, перед гардеробом или на подступах к извозчикам, Андрею Георгиевичу доводилось случайно услышать доброжелательные слова о его выступлениях, на которые теперь набирался полный зал. А речи его известных коллег порой бесцеремонно пропускали. Он снисходительно посмеивался над похвальными репликами: «Знали бы мои доброжелатели, с каким упорством я готовился к каждому выходу на люди, как штудировал Айхенвальда и Кугеля, не пренебрегал подшивками журнала «Артист».

И никто не догадывался о тайных мыслях оригинального и успешного критика. Андрей Георгиевич часто вспоминал занятия музыкой в детские годы, благословенные часы, проведённые на театральных представлениях. А главным театром он признавал только Большой. О всё более укрепляющемся авторитете Стержикова свидетельствовали многочисленные приглашения из многих театров принять руководство литчастью. Как-то на «серьёзный разговор» пригласили первые лица Камерного театра – Александр Таиров и Алиса Коонен. Позвали сопровождать артистов-«камерников» в гастрольной зарубежной поездке. Намекнули, что присматриваются к молодому человеку на предмет того, может ли он стать соратником реформаторов.

Они знали, что Андрею Георгиевичу предлагали заведовать труппой театра оперетты. Коллектив недавно торжественно перебрался в новое здание. Таиров и Коонен расспрашивали, почему Стержиков столь быстро вернулся из Ставрополя: ведь там собирались назначить молодого да раннего москвича режиссёром с тем, чтобы необходимый диплом он получил, не расставаясь с театром.

Андрей Георгиевич не стал скрывать, что южно-русская природа очаровала его, и встретили его прекрасные люди, однако он так смертельно затосковал о Москве, что не было никаких сил остаться.

ЛУЧШИЙ В МИРЕ ТЕАТР

И, конечно же, магнетически привлекала музыка...

Вообще-то Стержиков по совету МХАТовского завлита Павла Маркова начал писать театроведческую книгу, назвав её по примеру «Вольных мыслей» Блока «Вольные наблюдения». Там он собирался рассказать о коллективах с историей и о не состоявшихся, о превосходных артистах старой русской школы Мочалова и Щепкина, Савиной и Федотовой. И всё же Андрей Георгиевич постоянно откладывал в сторону рукопись, ловил себя на том, что с наибольшей искренностью он стремится к классической музыке, к великому храму, где ей поклоняются и стар, и млад. Он боготворил единственный театр на свете, где впервые судьба подарила ему знакомство с сочинениями Глинки, Бородина, Чайковского и Мусоргского. А также Россини, Доницетти, Моцарта, Вагнера и Верди.

Стало совершенно ясно, что душа без великого искусства мировой оперы не в состоянии жить в полную силу. А всё остальное, чем он занимался честно и старательно, это – неполное призвание и, вдобавок, подённая работа ради куска хлеба. Необходимость такого поведения была очевидна, но затянувшееся пренебрежение генеральным жизненным выбором грозило невозвратной потерей квалификации.

Как ни странно, его невысказанные доводы как бы убедили, скажем так, небесные силы. Иного объяснения нет, да и нужно ли оно? Андрей Георгиевич получил прямое приглашение заведовать литературной частью Большого театра.

За пять с половиной месяцев 1938 года была произведена капитальная реконструкция крупнейшей в мире сцены Большого театра Союза ССР. Пришлось заменить перекрытие, прослужившее после пожара 80 лет. Оно обветшало; возникла опасность пожара. Ремонтные работы производились на ограниченной строительной площадке. Точные расчёты, широкое применение домкратов, блестящие инженерные решения... Обошлось без аварий. Ничего не поломалось, ничего не повредилось.

Творческий коллектив Большого не мог нарадоваться образцовому исполнению проекта реконструкции. Да и как не радоваться! Увеличились ширина и глубина сцены: её площадь стала больше почти в два раза. «Подросли» и колосники – до тридцати метров. Решительно обновили машинерию, осветительную систему.

Какой простор для творческих исканий!.. Словно только сейчас завершилось строительство театра.

И первое серьёзное испытание больших возможностей Большого состоялось очень скоро: режиссёр Сергей Эйзенштейн и художник Пётр Вильямс были назначены постановщиками оперы «Валькирия». Крутая проверка имела место быть в 1940 году.

Андрей Георгиевич в полном смысле слова сгорал от любопытства задолго до всегда интересной ему «Валькирии». Несколько раз удавалось обойти весь фронт ремонтных работ. Впрочем, в скором времени ознакомительные прогулки пришлось прекратить: в театре появились дополнительные посты охраны, и режимность закрытого объекта начала соблюдаться со всей возможной строгостью.

Стержикову ещё сильнее захотелось работать в Большом.

А помощь пришла с неожиданной стороны. Андрей Георгиевич встретил в коридорах Большого театра архитектора П.А. Толстых. По его проекту до рево-

люции возвели церковь в Сокольниках. Пётр Александрович – давний и хороший приятель Георгия Стержикова. Доверие между старыми знакомыми было настолько велико и нерушимо, что Толстых в гостях у друга порой позволял себе опасно откровенничать.

Правда, только дождавшись, когда Георгий Андреевич под каким-либо деликатным предлогом попросит сына оставить старых друзей вдвоём. Случайно услышанная Андреем Георгиевичем хлёткая фраза о том, что колоссу Дома советов – Вавилонской башне XX-го века – некуда падать, кроме, как на Кремль, могла стоить и дерзкому автору, и его внимательным слушателям не только свободы, но и жизни.

Стержиков-отец, как правило, благосклонно-почтительно отзывался об известном архитекторе, а также призывал сына брать пример с успешного Петра Толстых, когда он прочил ему карьеру архитектора. Проходя мимо доски объявлений в театре, Стержиков-младший заинтересовался перечнем участников проектно-конструкторской группы, занимавшейся реконструкцией сцены Большого. Нашлась в списке, к радости Андрея Георгиевича, и фамилия Толстых.

Следовательно, друг отца – не чужой человек в Большом театре.

Стержиков полетел домой, как на крыльях: появился шанс. Отец прекрасно знал о вожделенном сыновнем желании служить в Большом хоть ночным сторожем. Пришлось почтенному ленинградскому психиатру отправляться на поклон к авторитетному московскому зодчему.

– Да, слышал, слышал о твоём сыне... Говорят о нём только хорошее... И статейки его попадались. Неплохо пишет – талант просматривается. Большому пригодится несомненно. Но вот какие сложности для молодого человека... Послушай. Раньше дирекции и режиссёрскому совету вполне хватало устной рекомендации какого-либо солидного деятеля. Нынче иной порядок: нужен железобетонный письменный документ, причём не в единственном числе – не меньше трёх. На всякий случай, канцелярское дело заводим... Мало ли что... Одну рекомендацию ты получишь. Я – напишу. Остальные две добывай сам – приложи собственные старания.

Кстати. Сейчас укрепилась мода – приглашать постановщика только на один спектакль. Всевозможные варяги в цене... Месяца три-четыре назад позвали одного заслуженного пенсионера дополнить репертуар оперой Кабалевского «Кола Брюньон». Полагаю, что режиссёр преклонного возраста более сочувственно отнесётся к твоим отцовским хлопотам. При случае представлю ветерану твоего сына... Словечко замолвлю. Всё же, кто может сказать, что получится... Впрочем, риск – благородное дело... Так что будем благородными... Кстати, языки-то знает?

– Немецкий и английский.

– Пусть говорит об этом не дальше театрального порога... Меньше завидовать станут... А как у него дела с музыкальным образованием?

– Как тебе сказать? Учился в музыкальной школе, закончить – не закончил... Занимался дома три года... И с приходящим учителем, и мать приложила усилия... На фортепиано играет: до Гилельса и Флиера ему далеко, и хорошо, что от этого не страдает. Ему предназначена судьба Бориса Асафьева или Игоря Бэлзы. Он той самой, литературной, породы. Хлебом не корми, только дай читать и писать о музыке и музыкантах. Любое оперное либретто наизусть тебе отшпарит. А музыка так точно в крови – оперы слушает с партитурой в руках: на галёрку заберётся и только что арии в голос не распевает. Вот он такой...

– Всё понимаю. Одним словом, что смогу – сделаю...

Дней через десять курьер из Дирекции Большого театра принёс фирменный конверт с копией приказа о зачислении Стержикова Андрея Георгиевича на долж-

ность исполняющего обязанности заведующего литературной частью Большого театра Союза ССР с трёхмесячным испытательным сроком; оклад по штатному расписанию. К работе приступить после завершения в театре капитального ремонта, не позднее 1 октября 1938 года.

ОБНАДЁЖИВАЮЩЕЕ НАЧАЛО. РАБОТА ПО ПРИЗВАНИЮ

Молодой сотрудник, заведующий литчастью самого лучшего в мире музыкального театра с замечательными традициями, выпускник Московского университета, закончивший романо-германское отделение, только-только начал понемногу обживать маленький закуток с громким названием «Кабинет». Андрей Стержиков с наслаждением раскладывал книги на полках в удобном ему порядке; аккуратно расположил на столе программки спектаклей и краткие оперные и балетные либретто (потом почитаю!), собранные повсюду, где только было возможно отыскать, побросал в корзину для мусора и сложил рядом с ней ненужные листки, и даже протёр большую столешницу от бумажной пыли.

После долгой и утомительной приборки он присел на стул и извлёк из портфеля книгу Оскара Вальцеля «Импрессионизм и экспрессионизм в современной Германии». Монография нужна была для передышки перед каторжной, но, слава Богу, желанной и оплачиваемой работой. Андрей Стержиков только что вернулся из Ленинграда, где и получил редкую книгу от человека, редактировавшего перевод. Как германист, Андрей Георгиевич предпочёл бы оригинал, но в 1938 году достать таковой не представлялось возможным. К счастью, имя Виктора Жирмунского – научного редактора перевода – считалось исключительно авторитетным. Так что русский текст обстоятельного труда Оскара Вальцеля позволял пользоваться им как оригиналом.

Если бы Андрей Георгиевич мог предположить, что сам заместитель директора Большого театра Денис Матвеевич Таловиков собственной персоной и без предупреждения зайвится на чердачок литчасти, он бы предпочёл празднично посидеть на стуле посреди временного развала и ни при каких обстоятельствах не извлёк бы на свет Божий книгу Оскара Вальцеля. Этот раритет вручили Стержикову для передачи на родной романо-германский факультет alma mater. Правда, переданную книгу пришлось придержать по случаю долгого отсутствия адресата, не вернувшегося из летнего отпуска. Андрей Георгиевич по-хозяйски приберегал раритетного Вальцеля для детального конспектирования и личного знакомства.

Денис Матвеевич, который неделю назад по праву и по обязанности заместителя директора поздравил Стержикова с назначением на столь «высокую» (красноречивым жестом он намекнул на получердачное расположение каморки) должность, немедленно обеими руками схватил книгу: «Где достают такие редкости? Я много слышан о ней, но живём не видал». Получалось, как в поговорке «На ловца и зверь бежит»: словно только для того и зашёл Таловиков в кабинет, чтобы ему на глаза попала книга о современном немецком искусстве. Андрей Георгиевич смущённо объяснил, что монография передана с оказией искусствоведом-ленинградцем для москвича-профессора МГУ, попытался заполучить книгу назад из рук замдиректора. Таловиков успел открыть её на середине и цепко выловить цитату. Он зачитывал найденный фрагмент вслух, с сожалением качал головой, поскольку не может немедленно забрать импрессионизм с экспрессионизмом в свой просторный кабинет.

Андрей много-много передумал о случившемся. Первое и последнее, что пришло на ум: «Был один доброжелательный нейтральный человек, а теперь уйдёт».

как завистник и враг». Он ругал себя последними словами и искал мгновение – перехватить и спрятать книгу. Это удалось сделать не сразу, но, добившись желанного результата до того момента, как начальство устроилось на придвинутом Таловикову стуле, Стержиков занял своё законное место во главе стола. Наступило небольшое облегчение.

«Я не стал вас звать к себе, – начал Денис Матвеевич, – у меня там двери не закрываются, донимают посетители, телефон не умолкает – Содом и Гоморра, одним словом, а разговор с вами предстоит серьёзный и доверительный. Вы знаете, что канцлер Германии поздравил нашего вождя товарища Сталина с шестидесятилетием. Не вникаю в степень искренности этого поздравления, но ставлю вас в известность, что нам спущена директива – продумать дружественные мероприятия при помощи искусства и культуры, укрепляющие дружбу наших народов. Так называемая акция «Культурный обмен».

А поскольку наш театр – первый из первых театров Советского Союза, и мы всем видны издали, то нам и поручается продумать нужные меры и представить перечень того, что необходимо, чтобы всё выполнить в лучшем виде. К нам приставлен куратор от Кремля. Он, вполне возможно, по совместительству служащий в прочих знаменательных учреждениях... Так что я буду работать с пригласённым товарищем, а вы – со мной. Надо продумать действия, уровень. Мировой уровень! И предложения другим театрам. Вы хоть и новый человек, но многие области искусства знаете глубоко – я читал ваши рекомендации. Так вот, продумайте, чем можем мы угодить немцам без ущерба для нашей чести. Силы у нас необъятные, средства нам выделяют, какие попросим. Лишнего просить не станем... Однако, это – меньше всего ваша забота.

Необходимо избрать такой материал, с которым наши артистические силы справятся. На голоса грех жаловаться, но вот интеллект – точно недостаток. Понаедут из Песков, из Тьмутаракани и Тетюшей – и зачисляем в труппу за голос. Стоят, поют, как египетские мумии – и ни шага вправо, ни шага влево. Надо им разжевать и в рот положить смысл текста сюжета и арий. А если выберете балет, то чтобы не только красоваться на сцене фигурой, прыжками. Смысл и здесь не помешает. И хорошо бы расковать, освободить от зажима, раскрепостить от столбняка на сцене оперных солистов. Я тоже буду думать. Командируем вас в Ленинград, в Кировский театр, получите капитальные консультации. Там всё строже и более по-европейски, что ли, чёрт побери. Ну, в общем, время не терпит. Встретимся через пару дней – пока поработайте над планом. Но разберитесь, что вам-то ближе. Вам придётся помогать артистам – соответствовать поставленной задаче, понимать, что поют, что танцуют. За лекции в неслужебное время выбьют вам прибавку к жалованию. Кстати, хорошую книжку не дадите на пару дней?

– Денис Матвеевич, простите, но никак не могу! Просто не могу! Книжка – чужая. Клятвенно пообещал самому Жирмунскому доставить адресату день в день.

– Ну, ладно. Не обижаюсь. Прощаюсь ненадолго: не дай Бог опоздать с перечнем мероприятий, тогда никому не сносить головы. Готовьте план работы. До встречи.

Стержиков оставил даже помышлять о наведении порядка в помещении. Он тотчас принялся за работу и набросал черновой план.

Андрей прекрасно разбирался в средневековом европейском эпосе, защищал курсовую работу на тему: «Поэзия шпильманов – бродячих певцов – для безграмотных людей». Эти разыскания совершались после возвращения из Казахской АССР, когда Стержикова восстановили в университете. На четвёртом и пятом курсах он занимался на романо-германском отделении. Настольная книга, с ко-

торой не расставался, – «Песнь о Роланде». Стихотворная повесть о сражениях Карла Великого и его паладинов против испанских мавров, и гибель в неравном бою храброго Роланда.

Выпускник Московского университета всегда понимал, что Европу объединяли крестовые походы, потому и образование строилось не на азиатский манер. В середине XV-го века благодаря Иоганну Гуттенбергу совершился мощный цивилизационный прорыв: эпоха рукописей пошла на убыль, родилось книгопечатание. От рукописи к печатной книге! Русское книгопечатание появилось через столетие. При жизни Иоганна Гуттенберга Ивана Фёдорова ещё на свете не было.

Заметим, что Стержикова, однако, потому и отмечали университетские профессора, что для него приоритет народа российского всегда оставался на первом месте. Он никогда об очевидном приоритете Европы не рассуждал с низкопоклонством. Он ненадолго отвлекся от партийно-кремлёвского задания ещё и потому, что имел собственное мнение о современном состоянии европейских государств, об агрессивной и лицемерной политике фашистской Германии.

«Эврика! Нашлась идея – балет!» – восклицал Архимед XX века. – Но как теперь её воплотить в спектакле Большого. Необходимой музыки пока нет», – огорчился Андрей, пока не разочаровался полностью. Сначала он обрадовался, что первоисточник принадлежит нейтральному государству – Швейцарии. Альпийская конфедерация с незапамятных времён объединена с соседней страной немецким языком. А наиболее безболезненный нейтралитет – бессловесный: слова в оперных ариях можно истолковать в любую сторону, зато балетные партии приспособить к действительности нацистских маршей и парадов намного сложнее.

Хорошо бы включить в хореографический репертуар Большого театра сочинённый по классическим образцам балет по мотивам стихотворной «Книги о шахматах» Конрада из Амменхаузена. Для сельского пастора из Северной Швейцарии, умного европейского крестьянина, шахматная игра являлась своего рода жизнью человеческой. Фигуры на игровой доске в сочинении поэта XIV-го столетия обрисовали сословную иерархию феодального мира.

На верхних ступенях расположились король и королева; чуть ниже – судейские чиновники (слоны); потом рыцари (кони) и землевладельцы (ладьи), а в самом низу – бюргеры и крестьяне (пешки). Конрад – человек высокой нравственности: сильные мира сего у автора шахматной поэмы не в чести. Повсюду – корыстолюбие, и с ним не под силу справиться закону и справедливости. Рыцари превратились в разбойников, грабителей. Конраду хорошо знакома повседневная жизнь поселян и ремесленников; вот о ком средневековый поэт отзывается с безмерным уважением, не забывая сказать, что кое-что он не одобряет и в простонародных нравах. «Книга о шахматах» содержит немало число притч, забавных примеров из истории, библейских и средневековых легенд, рассказов о событиях недавнего прошлого.

Хорош, конечно, остроумный моралист Конрад из Амменхаузена, хороши и его предшественник и последователь обличительной традиции, сочинитель быстроногого «Скакуна» Гуго Тримбергский, а также неизвестный автор лирико-сатирической поэмы «Дьявольские сети».

Все эти интеллектуально-поэтические сюжеты необычайно увлекательны, но пригодится ли что-нибудь из пыльного средневекового наследия? Читать и воображать интересно... Нет-нет-нет, всё это не то... Но время, время! Срок подачи плана истекает.

Стержиков в необыкновенном волнении погрузился в изучение программ спектаклей; ему в помощь нашёлся потрёпанно-пухлый сборник оперных и балетных либретто. Андрей Георгиевич продолжал страстно стремиться получить

необходимую подсказку. Он даже нашёл перечень всех спектаклей за время существования Большого с 1780 года. Начинаясь спешная и весьма завлекательная, затягивающая в сладкий омут работа на грани криминального расследования. Иногда одинокий исследователь под крышей старого театра хватался за голову от счастья. «Какой невероятный случай привёл меня сюда!» Однако действительность требовательно возвращала его к собранным программкам. Он перебирал и перекладывал эти тоненькие брошюрки. На розовой обложке верхней программки за литчастью прочитал: «Валькирия». Готическая графика русских букв потрясала и настораживала. Андрей Георгиевич время от времени восклицал: «На чёрта нам надо заигрывать с фашистской Германией!» Но приходилось вновь углубляться в изучение прошлого репертуара. Между тем подсказка назревала. Но догадаться о ней сразу мешало лихорадочное состояние поиска. Но вот из каких-то дальних глубин выплыли звуки музыки, знакомой с детства. На несколько мгновений Стержиков замер в необычайном предчувствии крупного события.

О, это проходили радостные минуты, до отказа наполненные впечатлениями.

ТРАГЕДИЯ ЗАПРЕТА

Дерево Правосудия

Первая встреча с «Лоэнгрином» вспоминается ему через шестнадцать лет, как будто представленная воочию. Звуки невесомыми облачками воспаряют над залом: слушатели радостно-тревожно переносятся на берег Шельды, к огромному дубу – символическому Дереву Правосудия. Под ним сидит славный король Генрих Птицелов. О, здесь же, вокруг короля присутствуют знатные саксонские графы, высокомерное дворянское сословие. По призыву повелителя явились и брабантские рыцари с предводителем Фридрихом Тельрамундом и его суровой, жестокосердой супругой Ортрудой.

Прозвучал властно-суровый фанфарный мотив, музыкальный знак могущественной королевской власти. Не раз эта короткая, как требовательный возглас «Всем встать!», мажорно-победительная мелодия возникала впоследствии. Но когда она прозвучала первый раз, Андрей Георгиевич поневоле оглядывался в изумлении, почему меломаны-москвичи остаются на месте.

Молодой слушатель мало того, что, купив программку, продвигаясь в толпе зрителей, тотчас нетерпеливо прочитал её от первой до последней строчки. Теперь он, пребывая во власти слова и музыки Вагнера, пользуясь помощью краткого либретто, всё больше погружался в оперное действие.

Завязка собственно музыкального повествования – мелодически свободный королевский монолог, в котором Генрих Птицелов (О, нет, нет, король – не диктатор, он полагает, что его слова силой логики и верностью жизни должны убедить собравшихся!) призывает к борьбе с врагами, а этому препятствует несогласие в Брабанте. Беззащитный край пребывает без военного вождя, и это очень тревожно.

Генриху, не промедлив и мгновения, отвечает настроенный по-боевому, бесстрашный граф Тельрамунд. Мужественный рыцарь напоминает, что покойный герцог Брабанта завещал ему заботиться о своём сыне Готфриде, а на Эльзе жениться и стать правителем Брабанта. Судьба не позволила храброму графу выполнить волю покойного герцога: мальчик, ушедший вместе с сестрой на прогулку, не вернулся, и Эльза не смогла объяснить таинственное исчезновение брата.

Вместе с пропажей мальчика померкла безукоризненная репутация герцогской дочери. Нет, с такими неблагоприятными обстоятельствами Фридрих примириться

не мог. Абсолютная нравственная непогрешимость невесты – вот неперемное условие брачного союза. А здесь судьба брата неизвестна. И его сестра на подзрении.

Самые неудобные, самые жестоко-угловатые, колюче-непримиримые оркестровые фразы мелодически связаны с Фридрихом. Он ещё покажет себя, но пока, вразрез с мирной цепью звеньев речитатива, граф довольно-таки дерзко возражает королю, усомнившемуся в виновности Эльзы. Она, как решительно утверждает Фридрих, ослеплённая стремлением властвовать в Брабанте, намеренно погубила брата как соперника в праве занять брабантский престол.

Король не позволяет рыцарю продолжать обвинительную речь. Генрих Птицелов принимает решение: справедливый суд необходимо собрать немедленно. Он вынимает меч из ножен и клянётся, что не возвратит клинок на место, пока настоящий преступник не будет найден. Рыцари поступают так же. И король поручает вызвать сюда, под сень Дерева Правосудия, Эльзу.

Какая тишина наступила в оперном зале! Точно такая же, как в давние времена, на берегу Шельды, когда зазвучала исполненная английским рожком и гобоем мелодия ранней весны, и эта нежная музыка предвещала появление девушки, над которой нависло страшное обвинение.

Эльза – сама грусть и печаль; на строгие королевские вопросы она отзывается жестами и молчит, молчит, словно погружена в свои раздумья, очень далёкие от суровой полувоенной обстановки королевского суда. А волнение девушки несомненно и заметно всем, однако таинственность происходящего не прекращается. Тем не менее, внимательный меломан, напряжённо прислушиваясь к оркестру, то есть, к тому, что совершается сейчас в сознании Эльзы, догадывается о её переживаниях.

И Рихард Вагнер предлагает ключ к душевному миру герцогской дочери: неведомое заоблачное пространство светло-туманно проступает в веренице аккордов деревянных духовых инструментов. Да, это мотив Грааля. Мистический мотив обезоруживает почти всех собравшихся, и он как бы размыкает девические уста.

Для жителей Брабанта Эльза не просто дочь любимого герцога, скромная, милая девушка, но символ незапятнанного совершенства; она – своего рода человек высокой святости, прикосновение к её беззащитной душе, охраняемой лишь божественным Провидением, спасительно. Более того, люди чувствуют, что в её душе и сердце заключена некая нерядовая тайна, не обыденный секрет, а сокровенное знание, способное преображать и возвышать.

Сон брабантской принцессы

Днями и ночами Эльза неустанно молилась о неизвестной судьбе пропавшего брата. И теперь делится с людьми горькими переживаниями. Исповедь девушки преобразует собравшихся в соучастников странного события. Эльза защищается:

День и ночь я молилась о брате...
 Непричастна я к этой утрате.
 Готфрид-ангел, лицом – купидон.
 Я не знаю, как мне оправдаться
 За пропажу любимого братца –
 Колдовской вижу морок и сон ¹.

¹ Здесь и далее стихотворные переводы фрагментов арий выполнены Татьяной Фроловской.

Как-то раз перед мысленным взором девушки предстал невиданной красоты стройный рыцарь, небесный посланец, и его ясные глаза поразили воображение Эльзы. Принцесса догадалась, что это – её спаситель; она уверилась, что его спокойный, ничем не потревоженный взгляд обещает напрасно обвиняемой верную защиту.

Молитвенно-исповедальный монолог Эльзы, словно сверкающей алмазной нитью, «прошит» звёздными вспышками лейтмотивов.

В который раз Стержиков безмолвно восторгался изумительным мастерством композитора, столь блистательно владевшего симфоническим инструментарием.

Эльза, прислушалась к своей невинной душе, и в мечтательные видения wpłyвает лёгкий, как прозрачные облака, мотив Лоэнгринга: так вот кого девушка видит внутренним взором. Наконец, Эльза произносит слова об обрётённой чудесным образом защите, о небесной преграде клеветническим обвинениям и несправедливым подозрениям:

Явился рыцарь в латах серебристых,
 Вступился за меня. Он был неистов.
 Он был прекрасен в доблести своей...
 О, защити меня – тоску развей!
 Избавлюсь ли от злобного навета?
 От слёз и горя я не вижу света.
 Но истины забрезжит перевес,
 Ведь рыцарь – свет, спустившийся с небес.

Трогательное сновидение Эльзы неразрывно соединено с музыкальным напоминанием о Лоэнгрине. Здесь участвуют и деревянные духовые, и тремолирующие скрипки и отрешённо-божественная арфа. И завершается монолог Эльзы, уверенной в скором избавлении от злого навета, хоровым восклицанием:

Просвети нас, Господь!
 Отврати оговор –
 Слухи – выползни дьявольских нор.
 Эльзе верим, она так грустна и чиста.
 Озари справедливостью наши места.

Лейтмотив Грааля усиливается, пока не обретает энергию убеждённости. Эльза переходит на территорию заоблачного царства, присоединяется к тем, кого священный Грааль берёт под защиту.

Почти все, в том числе и венценосный Генрих Птицелов, счастливы, выслушав рассказ Эльзы. Король верит, что она невиновна. Лишь граф Фридрих Тельрамунд не покидает позиции непримиримого обвинителя. Вообще-то, для него нападение на Эльзу, этот бескомпромиссный прокурорский монолог – репетиция роли брабантского правителя. К нему прислушиваются. Не он ли – провозвестник истины?

СПЛОШНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ

Стержиков вернулся к действительности неохотно, но потратить четыре часа на воспроизведение известной ему музыки, когда текущая работа гнала его, как охотничьего пса, совсем в другое русло, а международное напряжение мешало безоглядно обратиться к высшему достижению культуры, было преступно халатно.

Андрей Стержиков свободно читал по-немецки, слушал радиопередачи из Германии.

Так он узнал, что в Берлине прошла выставка «дегенеративного искусства», которая потом проехала по нескольким городам Германии. Стержикову очень не нравился такой репрессивный подход к живописным произведениям, тем не менее, какая-то отравка поразила сознание. Он никак не мог избавиться от неприятной манеры оценивать картины, манеры, навязанной нацистским отношением к искусству, не только изобразительному. Некоторое время Андрей Георгиевич разделял создания искусства на дегенеративные и жизнеутверждающие. Эта подлая селекция, бесчувственный отбор стал огромной нагрузкой для сознания. Получать настоящее, независимое впечатление некоторое время оказалось невозможно. Страхнуть такой бесчеловечный морок удалось далеко не сразу.

Стержиков побывал в Ленинграде после обещанного назначения на должность завлита в Большом театре. Он поехал в северную столицу ещё и потому, что хотел повидаться с отцом. То, что родители расстались, ничуть не мешало его хорошему, любовно сыновнему отношению к обоим. Он попал на спектакль в Кировский театр. Давали балет Чайковского «Щелкунчик». Не в силах сдержать истинное восхищение, Андрей Георгиевич разыскал оформительский цех. Коллеги встретили москвича с раскрытыми объятьями, но Стержиков постеснялся высказать художникам свои восторги. Так что вся радость от выполненной работы должна была вдохновлять художников сама по себе. Разумеется, главный сценограф выходил на сцену, получал заслуженные аплодисменты и цветы, но вот исполнители, словно трудолюбивые муравьи, трудились в цеховом муравейнике – каждый в своём закутке, загромождённом многочисленными фотографиями, эскизами и макетами декораций, рисунками костюмов и портретными набросками.

Андрей Георгиевич никак не мог забыть о немецких «передвижниках»-изгоях. Самой отверженной картиной из 650 полотен стала «Башня синих лошадей» Франца Марка, почившего в 1916 году. Искусствоведы национал-социалистского вероисповедания в 1937 году на весь мир объявили картину «вырожденческой». Одновременно такими же позорно-ущербными признали живописные произведения Оскара Кокошки, Эдварда Мунка, Иоганнеса Иттена, Пауля Клее, Василия Кандинского, Марка Шагала. Франц Марк попал в необычайно дерзкую и гениальную компанию, изгнанную из художественных музеев Германии.

Рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс заклеил и приговорил к уничтожению десятки талантливых мастеров живописи и скульптуры, отправив потом репрессированные работы в последний путь по крупным городам Германии. Кто бы мог предположить, что три миллиона зрителей посмотрят «выставку обречённых».

Один из «муравьёв» – прилежных подмастерьев главного сценографа – Василий Говоров пригласил Андрея Георгиевича, гостя из столицы, одинокого постояльца театральной гостиницы, выпить стакан чаю. В ворохе всего, что было навалено на рабочем столе гостеприимного хозяина, даже отыскался газетный кулёк с горстью сахарных сухешек. Неожиданная находка изумила самого ленинградца.

Андрей Георгиевич, с опаской разгрызая сушку гранитной твёрдости, решил спросить о том, что тревожило его неизвестностью и неразгаданностью. Однако собеседник понятия не имел ни о кочующей «По Баварии бузинной, Вестфалии дубовой, по Тюрингии сосновой» «дегенеративной выставке», ни о «Башне синих лошадей». Имя Франца Марка, публично гонимого рейхсминистром, прозвучало для него очень смутным воспоминанием. Ничего не говорило театральному художнику название картины: «Башня синих лошадей». заинтере-

ресовало ленинградца особое обстоятельство – безнадёжное и необъяснимое исчезновение картины.

Прилежный подмастерье предложил Андрею посетить гениального художника, живописца не от мира сего, тем более, его мастерская находилась здесь же, в Кировском театре. «Возможно, дегенеративного», – подумал Стержиков, – через ту же призму – и пошёл смотреть работы. Вот здесь он и увидел до двадцати эскизов к картине «Корабль королей». Сама картина художника Антона Евгеньева в карандашном штриховом, очень плотном исполнении, с расстановкой фигур уже стояла на мольберте в размере, на первый взгляд, 60 x 100. Стержиков с радостью остался бы переносить фигуры ярких солнечных эскизов на грунтованный холст, натянутый на подрамник. Он не понимал, зачем эти «короли» обрядились в тельняшки, но то, что это художником обдуманно и имеет свой подтекст, не сомневался. Вместо этого, он спросил хозяина мастерской, знает ли он что-нибудь о Франце Марке. «Анималист», – ответил художник. – «А про его картину «Башня синих лошадей» можете рассказать?» – «Я же сказал, анималист. Животные у него в Бога верят. Это я точно знаю, а синие, потому что отсвет неба на них. Картины не видел, но должен сказать, «Купание красного коня» у Кузьмы Петрова-Водкина – в тему. Лошадь – благодарное животное для живописца. Пусть будет синего цвета или зелёного, только не квадратно-кубическое – без лика. Марк умер в первую мировую войну. А почему он вас волнует?» – «Разговоров много о нём, а картины никто не видел» – «На моём корабле только лошади не хватает, но для вашей радости могу пририсовать, как лошадь – не в тему – плывёт за кораблём».

Все расхохотались. Расходились довольные друг другом.

Стержиков возвращался в Москву, обогатившийся двумя сильными впечатлениями. Одно – это таинственный «Корабль королей», пребывающий поодаль от «нашей, советской, эпохи», от действительности красных знамён и призывных плакатов. Не меньшей силы впечатление – книга Оскара Вальцеля, проникательно разобравшего связь экспрессионизма с фашизмом. Честную точность разбора не простили кропотливому искусствоведу.

Размышляя над изгнанием произведений современного живописного искусства из немецких музеев, возвращаясь вновь к именам ошельмованных мастеров, Андрей Георгиевич заметил, что авторы «проклятых» картин и скульптур часто с еврейскими именами. Следование теории расовой чистоты являлось самым омерзительным. Заигрывание с государством, всерьёз применяющим очевидно фальшивый инструмент, казалось Стержикову предельно лицемерным и опасным. А барабанные слова о дружбе народов нисколько не убеждали.

Уменьшить безнравственность дружеских объятий с фашистским государством, напомнить об истинных духовных достоинствах могла бы только добросовестность работы с выбранным для постановки музыкальным материалом. Настоящее, неподдельное искусство должно было сократить воздействие приспособленчества. Отвести удар неправды мог только абсолютный шедевр. Поскольку требовался шедевр конкретной национальной принадлежности и сверхзадачи (чтобы слушатель при первых звуках вспоминал отечественный гимн), Андрей Георгиевич вновь принялся за разбор оперного архива Большого театра.

По поводу русского шедевра, оперного и патриотического, с торжественно-государственной музыкой, сомнения не возникали. Конечно, «Иван Сусанин», в оригинале – «Жизнь за царя». Стержиков, как дотошный архивариус, не чуждый и юмористического взгляда на вещи, подумал: «Жизнь за Михаила Фёдоровича...» А как же с немецким патриотизмом, и кто теперь в Германии – верховный компо-

зитор. Это, разумеется, Рихард Вагнер. Пятидесятилетие со дня кончины великого музыканта отмечалось, как важнейшее государственное событие. Речь министра пропаганды, произнесённая в Байройте, в заповеднике вагнеровского творчества, транслировалась на всю Германию.

«Вагнер! «Неужто слово найдено?» Так, партнёр по ту сторону государственной границы определился, осталось выбрать в наследии классика нечто наиболее соответствующее. Большой театр три раза обращался к Вагнеру. Первый раз – через год после революции семнадцатого года. Поставили «Золото Рейна» – начальную часть великой тетралогии, единственной в истории оперного искусства. Продолжения не последовало: не прозвучали ни «Валькирия», ни «Зигфрид», ни «Гибель богов» ...

Где взять шедевр? За бесконечными размышлениями завлит трижды обнаружил Вагнера в истории театра: 1918 г. – «Золото Рейна», 1922-1923 гг. – «Лоэнгрин», 1929 г. «Нюрнбергские мастерзингеры»... «Так вот где таилась погибель моя!» Он понял свою интуицию и намёк, вернее, даже предопределённость. Теперь надо было всё это записать для сообщения художественному совету.

После, после! Пока он решил ещё побыть с музыкой гения один на один без всей истерической Германии и необъятно-загадочной России.

Божий суд

Помедлив, король принимает вызов графа и объявляет, что пусть небеса вмешаются в бескомпромиссный спор. Предстоит решительный поединок. Фридриху необходимо сразиться с тем, кто объявит себя защитником Эльзы. В праведной схватке по Божьему соизволению победит тот, на чьей стороне правда. Оркестр как бы предъявляет специальный рескрипт, экстраординарный королевский указ по поводу неоспоримой окончательности итога поединка, проходящего под неподкупным присмотром небес.

Возвещать о «высшей судебной инстанции», о неподкупном Божьем суде, Вагнер поручил грозно звучащим тромбонам и тубе; слышны в оркестре и королевские фанфары: нельзя забыть, что поединок справедливости назначен по соизволению верховного правителя. Центральная фигура на предполагаемом судебном ристалище, конечно же, Эльза, обвиняемая в братоубийстве хладнокровным карьеристом Тельрамундом. Рыцаря не очень волнует истина: обстоятельства отняли у Эльзы право наследовать покойному герцогу, почему бы не воспользоваться случаем. А править Бранантом он сможет с той же пользой, с той же заботой о благополучии жителей герцогства.

Несчастливая девушка надеется на появление чудесного спасителя, сочувствующего ей неизвестного заступника. Четыре трубача приближаются к краю сцены. Они сопровождают глшатаю. В наступившей тишине призывно звучит его судьбоносный голос:

– Кто здесь Божьим судом готов за Эльзу в бой вступить, тот вступай!

Воцарилась нестерпимая тишина, сестра пропавшего Готфрида бросается к королю – она молит о последнем шансе, просит повторить клич. В оркестре мольба девушки передана настойчивым соло гобоя:

– Король – судья и рыцарь добрый,
Ещё раз повтори призыв твой бесподобный.

Напрасно ожиданье отклика. В тревожной тишине особенно отчётливо слышны неумолимые хоровые голоса:

– В молчанье грозном судит Бог.

Люди отстранились, оставили несчастную наедине с бедой.

Внезапно над многочисленной толпой королевских подданных раздаются взволнованные голоса речитатива:

– О, какое чудо! Вот плывёт! Что плывёт?

Смотрите, вон там, к нам плывёт лодка.

Белый лебедь её тянет!

Что? Где? В лодке – рыцарь!..

Все в радостном смятении, с осторожной, робкой надеждой смотрят на освещённые солнцем воды Шельды. Издалека к речному берегу приближается необычный чёлн, ведомый ослепительно белым лебедем. Чистый цвет большой птицы – белое знамя невинности и невиновности. А в челне во весь рост стоит рыцарь в сверкающих серебряных доспехах. Крепкой опорой ему служит меч, а к поясу прикреплён небольшой золотой рожок. Вот и всё вооружение неизвестного воина.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Участники художественного совета немного поспорили, но, в конце концов, согласились, что единственный немецкий композитор, пригодный для государственной программы «культурного обмена» – Вагнер. И пафосная, государственно-торжественная музыка, скорбная, величественная – это, конечно, же «Валькирия». Андрей Георгиевич, которому позволили говорить под занавес совещания, не стал говорить всё, что он думает о культовом немецком музыканте, посмертно обласканном и вознесённом до небес (до Валгаллы) нынешними властями Германии. Стержиков просто напомнил, что тотальная агрессия, древний тевтонский наступательный настрой в полном размере воскрес после поражения Германии в мировой войне, после унижительного Версальского мира и голодного периода в начале двадцатых годов.

– Мы и сами кое-что соображаем в политграмоте, – с ледяной вежливостью возразили Андрею Георгиевичу. – Мы, как и вы, как все советские люди, изучали и конспектировали «Краткий курс...», политически подкованы надёжно. Что вы предлагаете, что, на ваш взгляд, следует выбрать для ответной постановки? Вам ведь известно, что «Валькирия» – не новичок в Большом. До революции и публика, и музыкальная пресса приняли знаковый вагнеровский опус вполне благоприятно... Примите во внимание, что дореволюционная премьера явилась пробным камнем на пути к полному четырёхчастному циклу. Первая опера Вагнера при советской власти – «Золото Рейна».

– Значит, вполне логично обращение Большого к «Валькирии»... – заметил главный дирижёр. – Правда, лет десять тому назад превосходно прошли «Нюрнбергские мастерзингеры». Так что Вагнера никогда не оставляли в забвении.

– «Валькирия», «Валькирия»... Правильно ли сейчас именно в СССР напоминать о немецкой воинственности? Не лучше ли возобновить спектакль «Лоэнгрин»? Трагическая история, конечно, но камерность не позволяет использовать её, так сказать, в боевом применении. Успешная премьера с Собиновым, который пел

заглавную партию, прошла в 1922 году. На следующий год постановку, получившую признание не только в Советском Союзе, обновили. Пел опять-таки Собинов. Было бы прекрасно, если бы и сейчас вновь прозвучал чудесный голос Леонида Витальевича.

Но у меня в запасе более крупный замысел. Как известно, творческий путь Вагнера завершала опера «Парсифаль» – история об отце Лоэнгрин. А музыкальное повествование о сыне начинало композиторскую карьеру немецкого гения. Было бы отлично поставить диологию, восстановить хронологическую справедливость. За пределами Германии, насколько я знаю, у «Парсифаля» – довольно-таки приличная сценическая судьба. Особенно, в Байройте. Но и на родине Вагнера, по-моему, и в Байройте также две оперы в связке «Парсифаль» – «Лоэнгрин» в репертуаре отсутствуют. Немцы в обморок свалятся...

– Так уж и свалятся. Ваше предложение, без сомнения, весьма любопытное, даже, можно сказать, заманчивое... Вот только одна заминка... Поговаривают, что одна из высокодоговаривающихся сторон уже определилась с выбором. Что поделаешь, это – «Валькирия»...

– Позвольте, я дополню... От предпочтительного замысла соединить оперы «Парсифаль» и «Лоэнгрин», что было бы как раз по-вагнеровски, не вижу смысла отказываться. Но Большой имеет возможность поставить не только Вагнера... Можно всех удивить и поставить балет. Это – самое лучшее... Балет по «Книге шахмат». Музыкальное сопровождение – Шостакович или Прокофьев. А режиссёра, кроме Эйзенштейна, не найдём...

– Так расскажите, про этот шахматный сюжет...

Стержиков вкратце пересказал сюжет предполагаемого балета, который пришёл ему в голову во время подготовительной горячки к этому совещанию.

Конечно, по общему согласному решению, выбор пал на «Валькирию». Никто не возражал. Ни вслух, ни про себя. Все разошлись вполне удовлетворёнными. Сам же Стержиков, старательно перебирая в памяти подробности заседания, убедился, что никакого доноса на него не существовало. Немного насторожило только одно: когда он собрался заглянуть в стенограмму совещания, чтобы проверить, насколько точно стенографистка записала его слова, в приёмной Таловикова ответили, что нерасшифрованную стенограмму сразу же забрал куратор из Кремля.

ПОСЛЕДСТВИЯ ХУДСОВЕТА

Всё-таки Стержиков не избежал ссылки в Яблоневоград. Слишком близко подошёл Андрей Георгиевич к закрытой стороне советской жизни. А слишком много знать про государственные дела во все времена смертельно опасно. Понятно, что к такой ссылке лучше всего отнестись, как к перемене местожительства, или рассматривать, как незапланированное путешествие, желательно, на недолгий срок. Однако, это обстоятельство не утешало. Во-первых, кто поручится, что нежелательное пребывание в казахской столице не затянется: НКВД – учреждение без обязательств. Во-вторых, произошло крушение надежд, насильственная ликвидация сопричастности к высоким событиям в жизни советского искусства, о которой мечталось и которой была посвящена вся его предыдущая жизнь.

Когда руководство официально объявило о постановке «Валькирии», о том, что Сергей Михайлович Эйзенштейн назначен режиссёром-постановщиком спектакля, Андрей Георгиевич потерял покой и сон. Он никак не мог представить, что премьера пройдёт без него.

Ко времени невольного расставания с должностью завлита Большого театра, с самим театром и – что было особенно больно – с Москвой, Стержикову довелось близко познакомиться с поэтом Городецким. Сергей Митрофанович начинал как символист и акмеист, его ранняя лирика – стихи, навеянные древнерусскими верованиями и обычаями. Безмерно влюблённый в русскую старину, Городецкий не принимал первоначального названия оперы Глинки – «Жизнь за царя» не только потому, что на дворе была власть вовсе не царская, но и потому, что многие современники не могли забыть о гибели царской семьи в 1918 году.

Для Сергея Митрофановича, обожествлявшего крестьянскую Русь, центральной фигурой в эпохе смутного времени, конечно, являлся могучий Иван Сусанин. Он погибал в смоленских снегах, защищая, прежде всего, от гибели и поругания русскую землю и русских людей, спасая и царя, разумеется. Для Андрея Георгиевича «Иван Сусанин» 1939 года стал первой постановкой в Большом театре, первым должностным поручением. Он работал над спектаклем, но на премьеру не попал.

Сергей Митрофанович приглашал Стержикова к себе домой, как говорил Городецкий, на «рабочее чаепитие», читал черновые варианты хоровых песнопений, рассказывал о дивной русской старине, знакомил с подробностями давней эпохи, набрасывал характеристики действующих лиц и оперы, и современников Сусанина, а также Карамзина и других историков. Осведомлённость Сергея Митрофановича потрясала. Андрей Георгиевич, охваченный пламенем неподдельного восторга, старался не пропустить ни одного слова. А впоследствии, как редактор, заботился о корректуре, о том, чтобы все тексты арий и хоров были напечатаны без единой ошибки. Само собой, и программка спектакля не осталась без должного присмотра.

Андрей Георгиевич, по силе возможности, помогал театру делать то, что ему предназначено судьбой, хотя он хорошо понимал, что спектакль – шестёренка государственной политики, что талантливые певцы, оркестранты и дирижёр, все участники огромного события служат не только искусству, но и конкретному конъюнктурному заданию. Хорошо, что сиюминутность развеется, как дым, зато первоклассное произведение музыкального искусства останется.

Полтора года Стержиков ждал, какое произведение, в конце концов, выберут для культурного обмена германские деятели культуры. По радио ничего нельзя было узнать об этом, он ничего не находил в газетах. Позднее Андрей Георгиевич узнал, что Германия избрала «Жизнь за царя». Разумеется, в старой версии, без хоров на слова Сергея Митрофановича Городецкого. Этот выбор был очень символичен, с политическими намёками и расчётом с Польшей после подписания пакта «Молотова-Риббентропа» о ненападении.

«ИЗВЕСТИЯ» ИЗВЕСТИЛИ, ЧТО НАДО ЕХАТЬ

Обычно Андрей Георгиевич свежий номер «Известий» покупал в близлежащем газетном киоске. Однако нынешним утром на боковой двери киоска замер замок, и сквозь чисто вымытое стекло Стержиков разглядел пустоту полок: не было в наличии ни журналов, ни газет, ни книг. Гадать, что случилось и почему, не было никакого желания, тем более, что такое малоприятное происшествие порой случалось и раньше. А нынешние времена крепко научили: никого и ни о чём не спрашивать. Поэтому Андрей Георгиевич отправился в редакцию «Казахстанской правды», где иногда печатали его информации под вымышленными фамилиями. Сколько таковых набралось, он не помнил. Но гонорары, хотя и маленькие, по-

лучал на паспортную фамилию. Сейчас он надеялся прочитать о том, что делается на белом свете.

...Секретарь главного редактора Наталья Викторовна как раз в числе прочих газет приготовила подшивку «Известий», чтобы присоединить к ней полученный утром номер. Он уже был пробит дыроколом и – развёрнутый – лежал рядом с подшивкой, а Наталья Викторовна кому-то раздражённо объясняла по телефону, что главный редактор в командировке и предлагала позвонить через неделю. Заметив Стержикова, бросившего деликатно-вопросительный взгляд на желанный номер, Наталья Викторовна кивнула головой, и Андрей Георгиевич, благодарственно повторив в уменьшенном масштабе царственное соизволение, взял «Известия» и отошёл подальше от секретарского стола.

На последней странице разместилась статья Татьяны Тэсс «Валькирия» в «Большом». Имя молодой журналистки не первый раз встречалось Андрею Георгиевичу. Хорошо отзывался о москвичке и главный редактор «КП», матёрый газетный волк-волчище Николай Вербицкий: «Цепкая, никаких препятствий не признаёт, в высшей степени пробивная дама... Танковый характер...» Скорее всего, это была верная характеристика, что подтверждало дружеское прозвище журналистки – «ТТ».

И вот теперь эта «танковая» Татьяна Владимировна подробно рассказывала о репетиционном периоде вагнеровской оперы. Очевидно, полосу препятствий строжайшей секретности журналистка всё-таки преодолела успешно. Стержиков, словно воочию, видел постановщика, требовательно перебирающего бесчисленные эскизы декораций, возвращающего главному сценографу то, что не подошло. Время от времени Эйзенштейн и сам брался за толстый графитный карандаш.

Несомненное литературное дарование Татьяны Тэсс позволило корреспондентке «Известий» зорко подметить и наглядно описать многое, что совершалось на сцене, где вскоре пройдёт долгожданная премьера «Валькирии».

Странное зрелище разглядела сотрудница «Известий», когда на сцене прибавилось света. На запылённой сцене неподвижно лежала золотоволосая женщина. Над ней склонился мужчина. Журналистка узнала его. Конечно, это был Сергей Михайлович Эйзенштейн собственной персоной, знаменитый режиссёр грандиозного патриотического фильма «Александр Невский». Орденосцу Эйзенштейну поручили постановку государственной важности – спектакль по программе культурного обмена. Таким и стала московская «Валькирия».

Только вот занимался сейчас режиссёр странным делом: рубил ноги лежащей женщины. Золотые косы при каждом ударе топора подпрыгивали.

Вскоре всё выяснилось. Валькирия Брунгильда, спасая влюблённую и беззащитную Зиглинду, сажает женщину на своего серебряного коня; вместе с ней летит на вершину горы валькирий. Солистку заменили красивой куклой с золотыми волосами и розовым телом. Сидела кукла на коне неловко, её ноги оказались не в меру длинными. Нужно было укоротить, и постановщику пришлось самому взяться за топор.

Откровенно говоря, чересчур длинноногая кукла была не единственным изъяном декорации. Плохо закреплённая гора раскачивалась и скрипела.

Сергей Михайлович, расправившись с нестандартными ногами золотоволосого манекена, потребовал на сцену театральных плотников. Все остальные, кроме непосредственных виновников, хмуро подступивших к скрипящей горе, мгновенно исчезли за кулисами.

...Стержиков удовлетворённо закрыл газету с обстоятельным очерком Татьяны Тэсс и устремился домой.

Более никаких сомнений «ехать-не ехать» не осталось.

ДРУГАЯ СТОРОНА СЧАСТЬЯ И РАДОСТИ

Только тогда, когда Стержиков со своего места в последнем ряду галёрки разглядел дирижёрскую палочку, мимолётно блеснувшую за красно-бархатным барьером, тревожное настроение ослабело, почти что стусебалось. Оно заменилось долгожданным предчувствием повелительного явления музыки. И она появилась по мановению маэстро.

Музыка прервалась, и Вагнер на некоторое время отпустил слушателей из-под власти всеильного мелодического плена. Медленно и неуклонно плывшие навстречу друг другу полотнища тяжёлого занавеса соединились, и в зрительном зале вначале зажглась огромная хрустальная люстра, а после скромно обозначились малые светильники в ложах и над боковыми дверями. Однако «царская ложа» контрастно осталась в темноте, и к приятным впечатлениям такую немую темень посреди яркого блеска театральных лампионов, никак не отнесёшь.

«Пора зайти в буфет, – в конце концов, решил Стержиков. – Пара бутербродов, надеюсь, не помешает мне и Вагнеру благополучно добраться до последнего взмаха магического дирижёрского жезла». Он, без происшествий преодолев межкресельное пространство, бодро вышагнул на ковровую дорожку, надвое разделившую зрительный зал от оркестровой ямы до серединных входных дверей, и... почувствовал себя внезапно брошенным в серо-свинцовые ледяные воды реки, скорее всего, Стикса...

Из почти пустого гнезда правосторонней ложи, в которой новеньким обмундированием и как бы праздничной отглаженностью белокожего лица, прирождённой гвардейской выправкой блистал молодой человек, принадлежавший к особой касте сотрудников НКВД. На Андрея Георгиевича надвигалась лютая опасность.

Правда, блестящий сотрудник НКВД не смотрел в сторону поклонника Вагнера, дело обошлось без почтительного приветствия старого знакомого, но как же хорошо понимал Стержиков, что событие, если и обошлось без взаимных приветствий, зато не останется без последствий. А всё потому, что молодой человек, словно спустившийся с подиума Дома моделей, являлся следователем Корвицким, имевшим по долгу службы неоднократные доверительные беседы с расконвоированным на время допросов Стержиковым по поводу мыслей, открывшихся на худсовете. После чего следователь отправил собеседника на поселение, с которого Андрей Георгиевич сбежал ради оперного искусства.

Не останавливаясь и не оборачиваясь, Стержиков покинул зрительный зал. Сейчас он запоздало ругательски ругал себя за то, что некстати подчинился чувству голода: «Мог бы и потерпеть, а теперь что меня ждёт: тюремная закалка – карцер, сухая голодовка, «трое суток без горячего!» и прочие прелести подневольной жизни». Тогда он ещё знать не знал, что, в лагерной действительности всё намного страшнее.

...Судьба свела Стержикова с Корвицким вскоре после худсовета. За несколько дней до вызова в серый, знакомый по студенческим годам дом Таловиков, здороваясь при случайной встрече, как-то странно, не попал глаза в глаза Стержикову. Самые худшие предчувствия осуществились неожиданно быстро. Со стенограммой в руках ласковый служитель наркомвнудельской Фемиды вдоволь наслаждался общением с подследственным, человеком начитанным, обладателем нескованного предрассудками ума.

Свободомыслящей личностью старался представить себя во время допросов один на один и Корвицкий. Свою независимость приятный во всех отношениях

Порфирий Петрович Двадцатого столетия не раз подчёркивал самолично изобретённой сентенцией: «Дуболомам – дуболомово, а мы с вами – иного поля ягода, дорогой Андрей Георгиевич! Нам суждены иные, высокие, пути». Как говорится: «Избави Бог от таких похвал!»

На одном из последних допросов, «дотошных выпытываний», как очень скоро определил кабинетные расспрашивания Стержиков, Корвицкий, отложив в сторону допросный лист, задумчиво произнёс: «Мне необходима ваша помощь. Я много дней присматривался к вам, в полной мере оценил ваши литературные способности, внимательно прочитал ваши прозаические опыты («про свою сторожевую внимательность» мог бы и не упоминать – кто бы сомневался; «пригодится и верёвочка» – удавить в подходящий момент).

Значит, понадобился в служебную копилку старшего следователя Корвицкого ещё один тайный агент: «Как секретный сотрудник – секретному сотруднику, скажу».

Вслух Стержиков выговорил: «Я весь внимание».

Настало долгое молчание. Корвицкий, не произнося ни слова, спокойно, почти что равнодушно смотрел на Стержикова. Так смотрит врач на больного, отложив шприц, при помощи которого произвёл укол снотворного. Проходили минуты, Андрей Георгиевич словно превратился в секундную стрелку каких-то карманных, а может, настенных часов. Она передвигалась по циферблатному кругу мучительно медленно. Капля за каплей, размеренно и неумолимо падающие на обритое темя заключённого – вот что такое сейчас эти секунды и минуты. Следовательский кабинет напоминал пыточную камеру, где истязают ничем не нарушаемой тишиной, глухой беззвучностью. Стержиков раздражённо подумал. «Вот ещё Великий Немой нашёлся. Не достаёт лишь белого экрана и бодрого тапёра. Занятая картина получилась бы. «Детей и слабонервных просят покинуть зал».

Иронические грёзы не получили продолжения.

У Корвицкого в руках оказался странный предмет, который как-то нельзя было здесь представить – довольно толстый книжный том.

Следователь, не заглядывая в книгу, равномерными движениями пальцев правой руки как-то отстранённо перебирал книжные страницы с конца тома, пока с холодной деловитостью не завершил неторопливое перелистывание тем, что заложил палец на титульном листе. Стержиков с невольной зоркостью, на счастье или на горе обрётённой в недобровольных скитаниях, отметил, что новенькая книжка хорошо знакома Корвицкому. Она совершенно точно была не из тюремной библиотеки, и по всему чувствовалось, что является чем-то вроде вещественного доказательства, до поры, до времени приберегаемого матёрым дознавателем, чтобы одним ударом добить подследственного.

– Книга-то с дарственной надписью, – по-приятельски, правда, с лёгкой укоризной старшего то ли по должности, то ли по возрасту поделился приятной новостью Корвицкий. – Можно заметить, что гриф «Совершенно секретно» отсутствует... Сами убедитесь, прошу вас. Впрочем, как и «Хранить вечно». Следователь нахмурился – казённая фраза неожиданно для него самого прозвучала как «Приговор окончательный и обжалованию не подлежит». А перед внутренним взором Стержикова встала сумрачная глыба Тауэра или ненавистной Бастилии, в одной из одиночных камер которой томился бессрочный узник в железной маске.

– Нет, – помедлив и закрыв книгу, проговорил Корвицкий. – Пожалуй, вернее прочитать мне – почерк автора надписи оставляет желать лучшего. Слушайте: «Дорогой Арсений! Наконец-то могу обрадовать старого друга книгой, в кото-

рой и твоего мёда немалая ложка. Знаешь, лет десять по странице день за днём собирал её. Представь себе токаря, то и дело отбегающего от станка набросать страничку-другую. Вот это я и есть. Приходилось писать урывками, кавалерийскими набегам. Помогли и твои – аккуратиста и педанта – архивные папки. Так и набралась целая рукопись. Прилежный и бескорыстный поклонник с младенческих лет Ника Картера и русско-питерского сыщика Путилова, озаглавил я своё правдивое сочинение «Секреты стального сейфа». В Лениздате начинающего автора приземлили: чтобы не потакать бульварщине, заменили название. Теперь – «Из кабинета следователя». Хорошо, что не из тюремной камеры. Ну, мы там не командиры. Приезжай, старый товарищ, в Ленинград: нам с тобой есть, что вспомнить и есть, кого помянуть.

Остаюсь, твой неизменно надёжный Рома».

– Так вот, – не дождавшись ответного слова, заметно потерявший уверенность в том, что между ним и вызванным на допрос человеком возможны не казённо-тюремные отношения, огорчившись тем, что бесследно растаяли полуприятельские разговоры о том, о сём, даром пропали одобрительные монологи о «Путешествии на край ночи» Селина, о пятитомном мушкетёрском эпосе великого мастера приключенческой интриги Александра Дюма, Корвицкий продолжил:

– Это – мой наставник. Ему я обязан выбором судьбы... И никогда о выборе не пожалел...

«Неспроста откровенничает следователь, – задумался Андрей Георгиевич, – не к добру вся эта приторно-задушевная беседа, а у самого приговор готов».

И, действительно, Корвицкий, не откладывая задуманного в долгий ящик, с прямотой человека при власти, не обязанного деликатничать, предложил Стержикову записать и литературно обработать уголовно-занимательные рассказы успешного воспитанника «Ромы из Ленинграда». Впрочем, какой-такой Рома: мало-мальски грамотные жители СССР уже несколько лет читают и перечитывают увлекательные до ознобного холодка в спине заметки в газетах и журналах за подписью Романа Шамбура. Разворачивая свежий номер газеты, ещё не отойдя от киоска, люди, прежде всего, интересуются четвёртой страницей – есть ли там очередной рассказ под рубрикой «Из кабинета следователя».

Потрясённый следовательским предложением Стержиков почувствовал, что Корвицкий притащил зависимого человека на тот самый сказочный перекрёсток, на котором, в какую сторону ни повернёшь, что-нибудь да потеряешь: коня или жизнь... или честь... С чем же не жаль расстаться? Сказка в перечень неминуемо возможных потерь не занесла литературный талант, не записала чистую совесть самостоятельного сочинителя. «Губить дарование подмётной литературной подёнщиной – распоследнее дело. А направление в лагерь или что похуже приготовил завистник – Сальери в мундире лейтенанта НКВД – не к чему загадывать...»

– Что же мне вам сказать... – Андрей Георгиевич встал. Корвицкий холодно предложил:

– Да вы садитесь, садитесь... можно подумать, что вас пригласили на высокую должность в Совнаркоме, и вы озаботились лишь выбором – пойти то ли в Наркомтяжпром, то ли в Наркомпрос. Конечно, согласиться с размаху... Это же не в крещенскую прорубь, поспорив на ящик «жигулёвского», броситься... Предложение не к сроку, однако хотелось бы... Представьте себе, какие сюжеты совершенно безвозмездно, без какой бы то ни было опасности для жизни, вы получаете в полное своё распоряжение.

Стержиков, как можно безразличнее, посмотрел в примирительно-спокойные глаза следователя. Решение принято, сам себе напомнил он. Перед Корвицким сидел молодой человек, за несколько дней успевший отведать тюремного харча; разница между двумя собеседниками существовала приличная.

В такие мгновения соображаешь быстро, а для Андрея Георгиевича не было секретом, что выбраться из капканной ситуации поможет только отказ – прямой, недвусмысленный, не оставляющий ни малейшей надежды тщеславному просителю. И также тому, к кому обратились с просьбой.

Потом всё случившееся и всё сказанное придёт много раз пристрастно вспоминать и разбирать, с наслаждением связывая разрозненные подробности в одно целое, зато сейчас, после неправдоподобно долгого молчания, Стержиков сказал:

– Нет, такое мне не под силу! Мне не справиться!

После решительного отказа подследственный с облегчением почувствовал себя будущим графом Монте-Кристо, которого после побега из замка Иф подобрала в холодном море рыбацкая шхуна.

Разговор оборвался, Андрей Георгиевич получил временную передышку, чтобы фантазийными видениями отвлечься от странности встречи в режиме «заказчик-исполнитель». Подобные видения – испытанное защитное средство. К примеру, сейчас Стержиков бросал взгляды на скульптурно-ласковое лицо Корвицкого и давал волю воображению: «Хорошо бы сочинить сказочную новеллу... людоед приглашает на чашечку кофе со сливками предполагаемую жертву...»

Теперь Корвицкий встал и подошёл поближе к заключенному:

– Очень жаль, гражданин Стержиков... Очень-очень жаль... Вы мне были довольно-таки симпатичны, о чём могли судить по разговорам, которые мы с вами не один день... Мне казалось, что вы каким-то образом о моём доверии догадываетесь... Однако вы ничего не поняли, моё доброе отношение не оценили... Как говорится, «Не сошлись характерами». Переубеждать не стану: заниматься бесполезными делами охоты не имею. Только вот последствия – неодинаковые: я останусь в своём кабинете, а вот вам предназначена дальняя дорога, скорее всего, невозвратная. Наверное, рано или поздно ваше бесстрашие потускнеет; вот когда вы пожалеете о своём отказе. Я постараюсь сделать всё возможное и невозможное, чтобы так оно и произошло.

О, услужливая память – ею невозможно управлять: в голове Стержикова прогремели театральные подпотолочные фанфары с верхних ярусов театрального балкона. Это были музыкальные фразы из «Тангейзера». Из «Лознгрена» снизу оглушительно звучали королевские трубы глашатаев, и кроме призывных трубных звуков Андрей Георгиевич уже ничего не слышал.

Впрочем, больше не произнося ни слова, не посмотрев на Стержикова, Корвицкий вызвал конвоира.

...Некоторое время Андрей Георгиевич ждал: вот-вот его отправят в лагерь. Корвицкий не подавал признаков жизни. Через неделю отсидки в безвестности Стержикова отправили в Яблоневый град, и Андрей Георгиевич самовольно предпринял во славу Вагнера недельное путешествие в Большой театр, чтобы насладиться оперным шедевром в постановке Эйзенштейна. Предпринял, уверенный, что лихая авантюра прошла безнаказанно. Но судьба-злодейка в образе некстати появившегося Корвицкого помешала благополучно завершиться так дерзко задуманной поездке.

Андрей Георгиевич досмотрел спектакль – дослушал оперу, считая это великим везением, а мысль о неминуемом расчёте, рассудив по-чапаевски: «Наплевать!», оставил на потом. Здесь – четыре часа, а там – вся оставшаяся жизнь.

Однако дальнейшие события не заставили себя ждать. Ничего не объясняя, его под белы руки увели в казённый автобус прямо на выходе из театра, поместили в камеру предварительного заключения, а утром предъявили документ, что за самоуправство он отправляется по месту ссылки для рассмотрения тяжести преступления и дальнейших мер. В Яблоневограде, конечно, хоть и поздно, но спохватились и имели право отправить сбежавшего поднадзорного для отбытия наказания по разнарядке вакансий для заключения. Но «вакансий» было так много, что местным органам не составило труда распределить бывшего поднадзорного, а ныне заключённого в Хабаровский край на лесоповал. В эти несколько дней почти не кормили, но Андрей Георгиевич ещё не знал условий холодного вагона, который не раз «отстёгивали» от паровоза, и тащился вагон с уголовниками и политическими до Хабаровска две недели, и прибыл на место в октябрьские дни, когда на дворе прочно закрепилась холодная предзимняя погода.

НАЧАЛО ОТСИДКИ

Ему дали реальный срок – пять лет. Великого режиссёра, постановщика «Валькирии» 1940-го года, год спустя эвакуировали в Яблоневый град – выполнять следующий социальный заказ, и здесь Эйзенштейн стал автором незавершённого киношедевра о грозном русском царе Иване Васильевиче. А молодого писателя отправили под надзором стражников в дальние лагерные палестины.

«Там, в краю далёком...» Андрея Георгиевича ждала судьба обыкновенного заключённого, полагавшего за счастье замену «высшей меры социальной защиты», в каторжно-тюремном лексиконе, «вышки», пятилетним лагерным пребыванием. Наказание не показалось таким уж страшным. Услышав приговор, Стержиков почувствовал себя почти освобождённым. Впрочем, соседнее государство, нагло присвоившее древнеиндийский ритуальный знак, позаботилось о том, чтобы нестрашный конкретный срок для молодого «контрреволюционера» превратился в неопределённый. Не успели разносрочные лагерники услышать о вероломном нападении на СССР вчерашней «дружественной» державы, как всем было объявлено, что какое бы то ни было освобождение отодвигается до конца войны.

Для Андрея Георгиевича – к тому времени он постепенно приближался к категории с развесёлым определением «доходяга» – такое решение оказалось отсроченным смертным приговором. Исполнялся страшный приговор на лесоповале, а главным и единственным инструментом недобровольного лесоруба служил обыкновенный топор. Таким плотницким инструментом ладили ещё «Стеньки Разина челны». Ерофей Павлович Хабаров 300 лет назад в тех же местах, куда судьба под конвоем привела Стержикова, рубил пограничные крепости. Интересно: Хабаров в гробу не перевернулся, услышав название «Хабарлаг», где пришлось Андрею Георгиевичу, в компании таких же интеллектуальных или совсем наоборот, личностей махать тяжёлым топором, пока он не оказался в лагерьной больнице с тяжелейшим воспалением лёгких и травмой головы и позвоночника.

Все лагерные ужасы Стержиков получит за два года. После того, как его в бессознательном состоянии вынесут с делянки лесоповала такие же заключённые, его спишут, как никчёмного доходягу, и отправят по месту прежнего жительства – не в московскую комнату с изнанки Тверской – ныне Горького, а в Яблоневый град. Это была третья ссылка в Казахстан. Но до этого тоже ещё надо было дожить.

Была у Стержикова счастливая черта характера – ему никогда не бывало скучно с самим собой. В любой передрыге, бессоннице, болезни он слушал любимую музыку, на которую его память, как верная собака, была натренирована.

ЛАГЕРНЫЙ ЛАЗАРЕТ

Простым везением такой капитальной перемены в судьбе всё ещё номерного заключённого не объяснишь. Сейчас Стержиков лежал на чистой белой простыне в палате лазарета, позволял себе ни о чём последовательно не думать; к нему неторопливо притекали разрозненные воспоминания о прошлом, а вдобавок и о том, что происходило недавно.

Московские воспоминания были бездымными и безболезненными. Они не за трагивали сердца, не устрашали. Они как-то безмятежно, словно негромкая детская речь, выстраивались в цепь приятных картинок. Такими умильными изображениями можно было делиться с сентиментальными иллюстраторами детских журналов.

Иное дело воспоминания недавние, которые по какому-то спасительному для Стержикова недоразумению остались за порогом, и о том, что грубая, безжалостная действительность существует, напоминали лишь решётки на больничных окнах. Кроме того, Андрей Георгиевич никак не мог избавиться от дымно-смолистого запаха горящих поленьев, скорее всего, еловых или сосновых. Не тянуло весёлым берёзовым дымком...

Лазаретный доктор каким-то непонятным образом прослышал о прошлом Стержикова, о жизни интеллигентного юноши. Возможно, кто-либо из пациентов лазарета пересказал анкетные сведения доктору. К сожалению, люди в лагере пропадали бесследно, и вычислить человека, осведомлённого самим Андреем Георгиевичем, не представлялось возможным. Стержиков помнил, как отец сначала страстно стремился, чтобы сын получил медицинское образование. Главный довод – безопасно! Конечно, встреченного ныне доктора никто не гонял на каторжные работы, не заставлял в полуобмороженном состоянии выдавать норму выработки на лесоповале. Счастливое детство Андрея Георгиевича – позднего ребёнка из семьи со старыми традициями – ушло далеко-далеко. То, что казалось преимуществом – совсем взрослые, к тому же хорошо образованные родители – имело и обратную сторону – Андрей слишком привык к вниманию и опеке и перед бытовыми трудностями впадал в растерянность.

После развода родителей стал замкнутым и за несколько месяцев невероятно повзрослел и до заключения под стражу занимался избранными предметами, фанатично заполняя не слишком весёлое время.

Когда задыхающегося Андрея Георгиевича притащили в лазарет, причём, надзиратель, пребывая в уверенности, что заключённого приволокли только ради последнего освидетельствования, даже не потребовал расписки, его просто перенесли в палату и уложили на одну из двух свободных коек. Он не помнил ни осмотра, ни окружающих людей – всё было как во сне: громоподобный пульс в голове и лица, как в замедленном кино: нянька со шваброй, она же с кузовком шприцев и микстур. Иногда сознание возвращалось; не шевелясь, только глазами наблюдая, Стержиков вычислил врача. Когда врач подошёл к его кровати, пациенту так заложил уши, что он не слышал ни диагноза, ни назначений.

А когда сознание к нему вернулось, он не знал, сколько прошло дней, но ему понравилось, что его не тревожил бег времени.

Доктор принёс и поставил на голубую фанерную тумбочку маленький красный патефон. Очевидно, происхождение данного предмета, немислимого в лагерном бараке, можно было объяснить только принадлежностью вещи к быту надзирателей. Поскольку опытный врач ценился за колючей проволокой на вес золота, охрана и её добровольные помощники на подобные режимные нарушения смотрели сквозь пальцы. Такие вещи заключённому Стержикову объяснять не требовалось. Не-

сколько дней, пока Стержиков в блаженной бездумности отодвигался подалее от смертного порога и приближался к жизни, патефон с откинутой крышечкой загадочно оставался без применения. Андрей Георгиевич постепенно стал подниматься, пока, наконец, не пришёл день, когда он смог подолгу сидеть на железной кровати, опершись на жёсткую казённую подушку, придвинутую к кровати спинке.

Неразговорчивый, словно из сурового ордена бенедиктинцев, дававших обет молчания, доктор, ни слова не говоря, принёс и пластинку. На красной, в тон патефону, наклейке Стержиков разглядел когда-то хорошо знакомую эмблему: перед раструбом граммофона сидит чёрно-белая собачка, внимательно слушает. Принесённая пластинка была произведена не на подмосковном Апрелевском заводе, о чём свидетельствовала надпись, что полукругом шла над милой собачкой с граммофоном: «His master's voice». Андрею Георгиевичу не составило труда перевести три английских слова на русский язык. Тем более, что и надпись, и граммофонная фирма с юности были известны москвичу. «Голос её хозяина» – вот что означали эти слова. Грампластинка на диске полностью не помещалась, её чёрные пластмассовые края с двух сторон нависали над границами патефонного ящичка. Но когда заиграла музыка, больной понял, что попал в привычный с детства мир.

ЛАДЬЯ ЛОЭНГРИНА

«Раз в году они с партитурой в руках непременно слушали «Кольцо Нибелунгов». Музыка доставляла истинное наслаждение».

Сомерсет Моэм. «Рождественские каникулы».

Как только после недолгого шелестящего шипения из стальной решётчатой мембраны послышались звуки оперного оркестра, Стержиков чуть не разрыдался: из небытия одновременно с божественно-ласковой мелодией возникла проступающая из светлого речного тумана стройная фигура царственного «Рыцаря лебеда» – Лоэнгрин. Спаситель прекрасной Эльзы, жертвы жестокой чёрной клеветы, стоял во весь рост в лодке, влекомой ослепительно-белым лебедем.

Да, патефон на голубой лазаретной тумбочке стал в эти мгновения сценой Большого театра, и в палату врывалось вступление к необыкновенной вагнеровской опере. Мастер здесь оставил в стороне громокипящие, страстные, раскалённо-чувственные переживания, почти отменил своё яростное пристрастие к грозным, кровавым поединкам не на жизнь, а на смерть. Один только образ более всего волновал композитора – видение дальней страны, недоступной простому смертному, заоблачной страны – Грааля.

В светло-воздушном, певучем содружестве скрипок, флейт и гобоев слышался возносящийся к бесконечному небесному пространству сокровенный хорал. Как не вспомнить великого Веймарского старца, с которым негласно соперничал дерзкий Рихард: «Туда, брат, туда...»

Эльза появится позднее, как превращение мечтаний, волшебных грёз «белого рыцаря» в живое, нежно-обаятельное явление во плоти. Тему Лоэнгрин сначала представляют скрипки, потом возникает мелодический «мостик» – приближение Эльзы, увидевшей рыцаря и покорённой его совершенством.

Коротко прозвучал этот «мостик», но запомнился. Он неустойчив: всё может измениться, всё может не состояться. Прекрасному что-то угрожает, но что же, что? По мановению дирижёрской палочки к мелодии вступления подключились альты и виолончели, затем кларнеты и флейты, звук возрастает – ведь Лоэнгрин,

доброе посланца Грааля, восторженно встречает народ, все очарованы внезапно явившимся чудом.

Сердце лагерника Стержикова вновь в трепетном состоянии, точь-в-точь как тогда, когда поразительной силы шедевр немецкого музыкального гения он слышал в первый раз. Ах, эти магнетические вагнеровские повторы той или иной темы, ах, эта властность, с какой он пленяет того, кто с высокой доверчивостью внимает музыке!

Волнение собравшихся, вызванное непонятым, запредельно странным появлением лебедя, лодки, рыцаря, передано автором оперы тишайшими звуками. Это неповторимое *pianissimo* – отзвук неземной души Лоэнгрина; это, конечно, он, полномочный посланец из дальней неведомой страны, заоблачного края; он и есть тот желанный избавитель, о котором молилась Эльза.

Всего этого не желает понимать и принимать непримиримый противник девушки, Фридрих; напугана супруга графа Ортруда; люди из свиты Генриха почтительно обнажают головы; они-то догадываются, что прибытие вооружённого рыцаря – явление божественного предназначения и смысла. Торжественно звучат медные, передавая лейтмотив Лоэнгрина, радостно вступает хор, приветственно обращаясь к прибывшему, и гремящие медные сменяются согласно-облачным скрипичным ансамблем.

ЯВЛЕНИЕ ЛОЭНГРИНА

Серебряный рыцарь выходит из лодки. Все слышат прощальные слова Лоэнгрина, обращённые к лебедю:

– Теперь неси, о, лебедь мой,
Ладью по рекам и морям!
Ты свято долг исполнишь свой –
В час радости вернёшься к нам.

Эта церемония прощания при затихшем оркестре погружает присутствующих в изумление, очаровывает, заставляет вновь смириться при встрече ещё с одним чудом. Это Господнее чудо – могучий и прекрасный белый лебедь. В негромком пении хора отрывочно возникают прежние мелодии: из вступления к опере, из прощания Лоэнгрина с лебедем...

Наступает время рыцаря-избавителя.

Логика мелодического возвращения понятна: народ преклоняется перед неизвестным рыцарем, видит в таинственном пришельце небесного посланника, на чьей стороне силы добра; они обещают победу справедливости.

НАКАНУНЕ ПОЕДИНКА

Лоэнгрин (до поры, до времени только нам известно имя легендарного рыцаря, спасителя невинной девушки) в обращении к королю сообщает, что намерен защитить честное имя Эльзы. Коли совершится победа в праведном бою, воин обручится с дочерью герцога Брабантского. Радости девушки нет предела. Преклонив колени, она обращается к блистательному пришельцу, как к родному человеку:

– О, мой защитник, рыцарь мой,
Судьбы единственный герой!

Эльза в своей трогательной покорности не сомневается в победе Лоэнгрин и намерена тотчас после поединка обручиться с ним.

РОКОВАЯ КЛЯТВА

Совершенно неожиданно безымянный рыцарь не отвечает Эльзе немедленным согласием. Ему необходимо, чтобы та, которая станет его избранницей, произнесла необычную клятву. Лоэнгрин, словно читает по слогам, словно произносит текст школьного диктанта, обращается к Эльзе:

– Скажи: «Я, рыцарь, не спрошу,
Как звать тебя, откуда родом,
И кто отец, кому служу?
Клянись перед своим народом:
Не верить слухам, колдовству,
Идти, куда ни позову.

Старина Вагнер – непревзойдённый знаток и поклонник германо-скандинавского мифологического собрания. Молодой советский человек Стержиков, разумеется, никому не признавался, что его пристрастие к вагнеровским версиям немецкого поэтического наследия дорого ему необыкновенно. Душа начинающего русского писателя пребывает как бы в громадном свете великой тетралогии, она как бы в благословенном поединке с могучими героями вагнеровского оперного эпоса. «Он ждёт, чтоб высшее начало Его всё чаще побеждало, Чтобы расти ему в ответ!»

Но при всём при том, не «Песнь о нибелунгах» томительно пленила московского меломана, перешедшего на провинциальное положение. Нежно-печальная драма осиротевшей дочери брабантского герцога стала главным литературно-музыкальным произведением для Андрея Стержикова.

Сокровенный смысл жизни открывался для старинного поклонника Вагнера в многогранной музыке уникальной оперы. Тема запрета, столь понятная Стержинову, взрослому в двадцатые-тридцатые годы, была верховной, она передавала настроение опасной эпохи, когда неосторожное пустячное слово, простительно-обыкновенная шутка оборачивались смертным приговором. И выражения «высшая мера социальной защиты» или «высшая мера социальной справедливости» цинично маскировали неумолимое библейское пророчество «Мене, текел, фарес» – «Взвешен, сосчитан, измерен».

Только приговор неправедному царю Вальтасару высшие силы начертали огненными буквами на дворцовой стене, а судьбу современного, как правило, невинного страдальца решала серая казённая бумага с полуслепыми машинописными литерами и выцветшей бледно-синей печатью.

Впрочем, прислушаемся. Музыка заветного запрета теряет свою непреклонную суровость. Просто страна рыцаря и его имя не могут быть названы: а Лоэнгрин тайна оберегает. Эльза, конечно, любит не шутя, но невинность её почти младенческой души не позволяет понять, насколько серьёзна и неизменна формула запрета. Сейчас, в это счастливо-доброжелательное мгновение девушка готова клятвенно пообещать что угодно, потому что любит и безмерно, безрассудно счастлива, что полюбили и её.

Обещание Эльзы, произнесенное без малейшего промедления, заставляет Лоэнгрин трогательно обнять будущую жену. Первое любовное объятие молодых людей приводит собравшихся в восторг. И оно завершается торжественным словом небесного рыцаря о полной невинности Эльзы.

Окончательным оправдательным приговором, наверное, больше остальных, остались довольны рыцари из графской свиты. Они упрашивают сюзерена отказать от ненужного поединка. Фридрих на примирительные уговоры не поддаётся. Его правота не подлежит сомнению, и победителем в предстоящем Божьем состязании суждено быть ему, а безымянный самозванец с позором покинет место рыцарской схватки. Граф – коллекционер победных поединков, и отступить, оставить противнику поле сражения никак невозможно. Тем более, что эта схватка проходит под знаком Божьего суда. Так что, заранее признать свою неправоту означает конец безупречной репутации среди рыцарского сословия и простого брабантского народа.

ЧЕМ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ПОЕДИНКИ?

Пока проходило объяснение Эльзы и Лоэнгрин, звучали мотивы Грааля, строгая мелодия клятвенного запрета, гремел воинственный монолог графа. Наступает время готовиться к поединку.

Всё внимание глашатаю. Он перечисляет пункты церемонии поединка, в которой главное условие: противники в битве остаются один на один, любое вмешательство запрещено:

Руки лишится нарушитель
Условий боя и борьбы.
Оруженосец – головы.

А на «горизонте» предупредительного монолога глашатая то и дело возникает мотив Божьего суда. Глашатая сменяют Лоэнгрин и граф Тельрамунд.

Они оба молятся Богу:

– Свято я верую в Бога!
Боже, суди справедливо и строго!
Дай мне сноровки и сил,
Чтобы лжец головы не сносил.

После традиционно-церемониальных слов серебряного рыцаря и непримиримого Фридриха король и все собравшиеся обращаются к Богу. Вагнер здесь сочиняет знаковый квинтет, в котором представлены участники драмы, начавшейся с непонятного исчезновения маленького Готфрида и продолженной волшебным появлением таинственного рыцаря. Возвышенный (всё-таки поединок серебряного рыцаря и графа – Божье событие) ансамбль то и дело расстраивают резкие реплики злой волшебницы Ортруды: можно догадаться, что внезапное исчезновение мальчика – её вина. Супруга непреклонного графа чувствует, что Лоэнгрин – не простой человек, и предвидит поражение Фридриха.

ПЛАСТИНКА ОСТАНОВИЛАСЬ

Стержиков подсчитал, в каком возрасте он присутствовал на премьере «Лоэнгрин» в Большом театре. В тринадцать лет... В зрительном зале он сидел между отцом и матерью и давал себе клятвы – всерьёз заняться музыкой. По большей части, Андрей старался улизнуть от фортепиано, пока, наконец, не вылетел из музыкальной школы. Уроки продолжались дома сходящим учителем, два раза в неделю. Папа сказал: «Занимайся, понимание придёт потом». Мама играла

несложные школьные пьески. Пришло понимание, что лучше приучить сына к серьёзному восприятию музыки, однако построить исполнительскую карьеру не удастся – лишняя трата сил и времени.

Пластинка, проиграв одну сторону, остановилась. Надо было встать, до отказа закрутить пружину и перевернуть пластинку, но для такого действия сил у Стержикова не осталось. Он прилёг на подушку и мысленно прослушал вновь первую сторону пластинки – музыка продолжала играть в голове и будоражить вернувшиеся детские впечатления.

Андрей не мог понять, как можно было потерять законные привилегии в прежней мирной жизни. Он же не был простачком или врагом самому себе. Почему интуиция не подсказала ему, как действовать в экстремальной, на краю обрыва ситуации? Прежняя жизнь оборвалась три года назад, но ему казалось, что всё случилось столь незапамятно давно, что из него выбиты все впечатления юности. Теперь, когда они вернулись, Стержиков осознал, что вопреки всему, выкарабкается из этой передраги. Конечно, его намеченные планы отделились, но не поблёкли: жизнь ещё не завершена. Он растянулся на пружинной кровати с тощим матрасом, сквозь который пружины впивались в кости, незащищённые мышечно-жировой прокладкой, но всё-таки это было освобождение от деревянных нар. Кровать была застелена белой простыней, удивляющей больничной чистотой, а байковое одеяло вместе с пододеяльником помогало сохранять тепло. Какая магическая сила привела к недужному лагернику на смотр со стороны необычный год его удачи, вдохновения и настоящей, насыщенной событиями жизни.

... – Замечтались, – негромко произнёс врач, подходя к кровати Стержикова. – Стемнело, не стоит открыто нарушать режим ночной тишины. Мало ли кому придёт в голову заглянуть в лазарет. Утром я вам покажу всё, что можно послушать.

– А сколько всего пластинок?

– Полная коробка, штук десять, точно не скажу. Я в этом не разбираюсь, некогда. Но я рад, что вы из ступора вышли. Подобный поворот я как-то предугадывал. Пластинки эти, как и патефон, достались по случаю... Вам пора отдыхать. До завтра.

Действительно, патефон и пластинка мешали Андрею Георгиевичу вспоминать спектакль 1923 года. Он чувствовал себя возвратившимся в прекрасное прошлое. Правда, его смущало, что не столько музыка звучит в душе, сколько немецкий текст, созданный самим композитором в подражание древнегерманским сказаниям. Вообще-то публицистическое дарование Рихарда Вагнера отличалось сильным, резким стилем. Поэтические опыты крупнейшего немецкого композитора – попытка работать в непривычном для Вагнера жанре. Казалось бы, взялся выдающийся творец не за своё дело, но выигрыш несомненный. Так всегда происходит, когда действует гений.

НА КРАЮ ПРОПАСТИ

И когда Фридрих покидает место заговора, его жена заговаривает с Эльзой. Ортруда жалуется, что ей плохо живётся, что её постигли многие несчастья, и умоляет Эльзу помочь.

– Живу одна, в лесной пустыне,
Вдали от радостей людских...

Доверчивая девушка готова прийти на помощь, она не помнит зла, прощает Ортруду, готова стать её искренней подругой.

Счастливая Эльза исчезает в глубине замка; вот тогда пропадает музыка жалобных стенований; когда в неискренних речах притворщицы всё время проскальзывали мотивы мести и смерти. Оставшись одна, Ортруда с лютой ненавистью, с неприкрытой яростью обращается за помощью к нехристианским богам:

– Мать нордлингов, богиня Мелитоле,
Кривой Вотан и Фрейя, появитесь!
Я жду вас в полночь, грешники! Дотоле
Вы на свой лад по-чёрному молитесь!

Добудьте для меня душевной скверны
(Пусть целый мир погрязнет в скорбном плаче...)
... Бесчеловечной ярости безмерной,
Убийств и мести, прочих мерзких качеств!

Я все грехи язычников безбожных
Переложу на собственную душу,
Пусть пропадут в пространствах невозможных
Мои достоинства – я клятвы не нарушу.

Пусть месть свершится! Грозный час придёт!
Пусть Эльза в чёрной бездне пропадёт!

Вот финал монолога разгневанной жены оскорблённого графа: в оркестре бушует ураганной силы стремительная концовка – аккорды духовых на пределе звука и громовая дробь литавр. Как только Эльза возвращается и зовёт Ортруду, супруга графа – само смирение. Коленопреклонённо («Здесь я у ног твоих») она молит юную герцогскую дочь простить её и позволить служить Эльзе. Девушка согласна, и в непритворном милосердном покровительстве намерена добиться от Лоэнгринга снисхождения к побеждённому графу.

Ах, как бесконечно, сверх всякой меры благодарна Ортруда! Она ответно слегка приоткрывает завесу некоей тайны, принадлежащей ей по праву, поскольку она такой властью обладает. А ведь ничего не ведающая Эльза в страшной опасности, над нею сгущаются грозные тучи неборимого зла. Спасти может только Ортруда. Она нашёптывает Эльзе:

– Скажи мне, кто он, твой герой?
Откуда он, безродный рыцарь?
Боюсь, твоею простотой,
Богатой, честной сиротой
Воспользуется, насладится,
И дело кончится бедой...
Ни с чем опасность не сравнится.
Как имя? Если затаится,
Само предательство свершится
Перед твоею слепотой.

О, если бы Эльза могла проникать в нотные письма («Музыка не обманет!»), постигать смысл симфонической речи и переводить в слова! Зловеще в партии фаготов возникает и длится «мотив мести»; потом (нота к ноте), обречённо-слитно

звучит «мотив запрета»: ласковая «подруга» нежно и неотступно подталкивает девушку к краю пропасти.

А та безнадежно-наивно ослеплена ошибочным доверием. И всё же тлетворное зёрнышко сомнения запало в душу Эльзы, пусть она пока и не внемлет лукаво-обманным замечаниям Ортруды. Пока Эльзе не до того. Она так счастлива, что желает поделиться наступившей огромной радостью с окружающим миром и, конечно, наперёд всего и вся с вызванной из жестокой опалы, несостоявшейся изгнанницей Ортрудой:

– О, будь со мной! Верь мне, Ортруда...

Эльзе-то как раз можно поверить безоглядно, достаточно прислушаться к сияющей божественным светом скрипичной игре. В угаре восторга девушка не замечает притворства Ортруды и гостеприимно приглашает в замок. Обманно поколебавшись, тайная мстительница идёт вслед за Эльзой, не замечая проходящего поодаль Фридриха, которого снедает мрачный огонь расплаты. И ведь всё это передано не словами – фейерверком лейтмотивов. Микромелодии впечатляюще отражают характеры и цели персонажей, и как страшно, что Эльза не понимает предостерегающих звуков музыки.

Пока Фридрих скрытно, как и появился, исчезает за стеной собора, мы смотрим вслед ему с безнадежной тревогой и горьким сожалением, что не в состоянии предотвратить беду.

РАССВЕТ НАКАНУНЕ СВАДЬБЫ

Рассветная музыкальная переключка, сигнальная симфония – по всем окрестностям замка звучат трубы. «Зорю бьют...» На дворцовой площади появляются четыре королевских трубача. «Фанфары короля» – мы узнаём знаменательный повелительный сигнал, призывающий собраться здесь горожан. Оживлённая людская сумятица: пришедшие расспрашивают друг друга, передают новости, и все нетерпеливо поглядывают на ворота замка: какую волю на этот раз выскажет король.

Новость неслыханная. По решению Генриха Птицелова Фридрих Тельрамунд обязан покинуть пределы королевства. Изгнание угрожает и тому, кто признается в дружеских чувствах к опальному графу. Королевские воины проклинают Фридриха: негодование – вот общее настроение людей, внимавших повелению властителя.

Но судьба родовитого воина, проигравшего поединок, оттесняется дальнейшими событиями. По воле короля должно без промедления состояться бракосочетание Эльзы и её спасителя. Он станет не только мужем принцессы, но и герцогом, властителем Брабанта.

Однако рыцарь герцогский сан принять не может, вполне достаточно, если добрый брабантский народ будет именовать его «стражем края». Все в невероятном восторге, таинственный незнакомец готов принять на себя обязанность главного защитника Брабанта.

– Будь здрав, герой – защитник наш,
Брабанта славный страж!

В радостном пении хора проступает один из лейтмотивов Грааля, и вдобавок воинственно-рыцарская мелодия Лоэнгриня.

НЕМЕЦКАЯ ЧАСТЬ КУЛЬТУРНОГО ОБМЕНА

Для Стержикова германская часть двусторонней операции по «культурному обмену» оставалась неизвестной. Он понимал, что вокруг политического государственного замысла возникнут разнообразные, умело и тонко скрытые дипломатические хитросплетения. Ему казалось, что выбор откровенно воинственной «Валькирии», гениально грубой, обаятельно немилосердной, лишь частично смягчён приглашением на сцену Кировского театра мужественно-нежного Лоэнгринга. Высокое небесное спокойствие белого рыцаря, посланца священного Грааля, противостояло всеограшающей стихии тевтонского пламени, по воле Вагнера кроваво-празднично бушующего в пронзительно-призывной «Валькирии».

Совершенно случайно кое-что всё-таки прояснилось.

Во-первых, из короткого тассовского сообщения, прочитанного в случайно попавшейся газете, Андрею Георгиевичу за полгода до войны стало известно: для ответной оперной постановки высшие германские руководители выбрали репертуарную оперу Михаила Глинки «Жизнь за царя».

Что касается «во-вторых», продолжение последовало в лагере. Помогло неожиданное полезное знакомство с университетским преподавателем истории средних веков. Дмитрий Леонидович, совсем недавно декламировавший в университетской аудитории «Здесь я стою, и не могу иначе!», а также «Париж стоит обедни!», теперь бригадирствовал на лесоповале. Он благожелательно относился к Стержикову, не перебивая, выслушал историю молодой жизни Андрея Георгиевича и взялся разъяснить загадку русской оперы «Иван Сусанин», к которой в столице «дружественной» Германии вернулось исконное название «Жизнь за царя».

– Понимаете, немцы никогда не держали ближайшего восточного соседа за нормальное самостоятельное государство. Для них это была страна славянских рабов, которую не жалко. Последователи древнегерманского взгляда на мир не собирались строить с Польшей прочные долговременные отношения. Выжать, как тряпку, досуха и отбросить. Меня, как и вас, Андрей Георгиевич, привёл в полное изумление совершенно странный выбор высшей власти Третьего рейха. Более патристического произведения, чем «Сусанин», более мощного проявления негибачаемого русского характера во всей русской оперной музыке не найти. К какому советчику прислушались высокомерные тевтоны, решив, что слова Сабинина против иноземных захватчиков касаются только самонадеянных ляхов, с которыми они с Божьей помощью («Gott mit uns») в сентябре 39-го разделались за две недели, один Бог ведаёт.

– Вообще-то, – после недолгого молчания прибавил Дмитрий Леонидович, – немцы намеревались сотворить из Польши ударный кулак против Советского Союза. Маршал Пилсудский, в двадцатом году отбросивший от Варшавы красноармейские части, столько наобещал всякого-разного, что германский генеральный штаб соблазнился. Так что «Жизнь за царя», за кайзера по-ихнему, это публичная порка самонадеянного польского общества с целью показать Советскому Союзу, что единственный надёжный союзник России – немцы. А доверчивые русские люди решили, что немцев навсегда просветил великий Отто фон Бисмарк, завещавший никогда не поднимать руку на Россию. Но вероломный фюрер со своим тупоголовым генеральным штабом решил, что он умнее Бисмарка...

– Интересно было бы посмотреть, что получилось из «Жизни за царя» на современный немецкий лад...

– Можете быть уверены, что ничего интересного... Скорее всего, ординарная постановка по казённой надобности. Неспроста о немецком «Иоганне Сусанине»

в берлинском спектакле наши газеты промолчали, словно воды в рот набрали. Конечно, после начала войны и в Германии тема крепко устарела. А вам не хочется пофантазировать на тему «Жизнь за царя» на польской оперной сцене? Знатная получилась бы постановка. Да... замечтались мы с вами, заговорились... Ну, что ж, до встречи!..

– Минуту... хотел сказать самое главное. Вам же известно выражение «вагнеровские голоса». Так вот, если на минуту представить, что у постановщиков, кроме искусства, не было ни одной политической тайной мысли, голосовой комплект «Жизни за царя» совпадает с таковым в операх Вагнера. Вообще, русские оперные композиторы обожали голоса низкие. В России таких голосов хватало. В «Жизни за царя» три басовых партии, в бородинском «Князе Игоре» – пять; прибавьте хоры и контральто Кончаковны на три октавы. Теперь «Лоэнгрин» – басовых партий – пять. Ортруда – меццо-сопрано, а второстепенные персонажи – теноры и басы, сопрано и альты. Басовый диапазон от бас-баритона до центрального баса, бас-профундо и бас-буффо – поистине мужская музыка. Но Россия не отстаёт. Однако «Жизнь за царя» в Германии – всё-таки намеренная политическая задумка, смешная попытка усыпить нашу бдительность, вдобавок лицемерное, насквозь фальшивое обвинение Польши в воинственных намерениях. Как говорится, с больной головы на здоровую...

– Если бы вы могли представить себе... Освежающее и пьянящее, как холодное шампанское, для меня ваше сообщение, – восхитился Стержиков. – Спасибо!

– Вот куда хватили! – рассмеялся собеседник. – Крепкая у вас память – шампанское! Я давно забыл, что это такое. Всего вам хорошего! Поправляйтесь!

Как раз «поправляться» не входило в намерения Стержикова. Андрей Георгиевич ждал врачебного осмотра, чтобы узнать у Николая Николаевича, каковы перспективы: как скоро его признают годным вкалывать на лесоповале. По своему состоянию Стержиков чувствовал, что ему ещё недели две, но, может быть, все три придётся отлежать в лазарете, а вот дальше – темно и непонятно...

В коробке с пластинками Вагнера больше не нашлось, и Стержиков занимал себя воспроизведением оперы по памяти и наслаждался спектаклем в мифическом театре.

АКТИРОВАНИЕ

Медсестра Тамара подошла к кровати Стержикова:

– Николай Николаевич сказал, чтобы вы пришли в перевязочную... Давайте помогу встать, вместе дойдём... Я подготовлю вас к осмотру.

Тамара помогла Стержикову подняться, и они двинулись в путь. Несколько метров дальней дороги от палаты до перевязочной Андрей Георгиевич преодолел без особого напряжения. Травма постепенно отступала, острая боль чувствовалась иногда, но неприятно-неожиданно, как бы била током, но потом опять терпимо. Тамара протёрла спину Стержикова спиртом – это он определил по запаху, потом по запаху же сообразил, что края ран промазала йодом.

– Как вас угораздило! Но ничего... Потерпите...

На пороге лазарета решительно, по-хозяйски, возник сам Николай Николаевич, божество в белом халате, сейчас наполовину скрытым великоватой телогрейкой внакидку. Возник и стремительно пролетел мимо Стержикова.

– Тамара, вы – свободны... Минут через двадцать загляните, заберёте больного.

И доктор с пациентом остались наедине друг с другом.

Доктор быстро, поднаторевшими в сотнях осмотров пальцами прошёл по краю спины от затылка до поясницы, не касаясь середины, время от времени проверочно всё сильнее нажимая на спинные мышцы. Дошла очередь и до позвонков. Врач тщательно и несильно ощупывал, но по ходу осмотра ничего не говорил.

Наконец осмотр завершился, и Стержиков оделся. Врач устроился рядом на табурете.

– Что сказать... Выжить-то вы выжили, однако с позвоночником у вас неладно. Наложить гипс, когда вас принесли, было невозможно. Открытые раны... Какой там гипс. Теперь получше, конечно. Но в лагере вас держать нечего. Скорее всего, актируют, пусть не завтра; когда окрепнете заметнее. Отростки пострадали, и одно ребро, но эти переломы не столь опасны... Боли? Боли пока останутся, а там, как Бог даст.

– При каком-то повороте мерцающая боль, как удар тока.

– Вот это самое опасное. Спиной мозг задет. Осколочек засел в спинном мозгу. И сотрясение пройдёт, воспаление лёгких вообще уже не слышу, а спину надо зафиксировать. Принесу вам кожаный корсет, носите днём, ночью снимайте... И обходитесь без резких движений... Неизвестно, как он себя поведёт, вы ещё молодцом держитесь при такой травме.

– Николай Николаевич, – терпеливо выслушав врача, почти что робко приблизился к нужной теме Андрей Георгиевич. Странно, но это замечено давным-давно: чем крупнее просьба, тем быстрее любой бас или баритон всползает на верхи, чуть ли не поёт тенором, а то и пропискивает покорнейше-нижайшую просьбу фальцетом. Стержиков изо всех сил старался сохранить ровное состояние голоса:

– Прошу прощения, однако нельзя ли в истории болезни изобразить травму спины серьёзней, пострашнее, что ли? Хочется как-то избавиться от нежелательной ревизии и врачебного заключения... и от самого себя.

Врач отвечать не торопился. Никакой растерянности Николая Николаевича не чувствовалось, заметно было, что обдумывал он лишь то, как построить монолог, чтобы не напугать лагерника.

– Страшнее некуда, Андрей Георгиевич, – наконец, приступил к делу врач. – Что же мне написать-то? Ваши дела, коли судить по правдивой истории болезни, и без того плохи. Хуже только... – Николай Николаевич поднял глаза на Стержикова, как бы решая, обнажать или не обнажать истину... Потом решил чуть-чуть добавить в нелёгкий разговор порцию бодрости :

– Если смерти, то мгновенной, если раны небольшой? Вы, слава Богу, избежали смерти мгновенной, однако взамен и раны небольшой не получилось... Теперь прикиньте. Напишу я вам бумагу страшную-престрашную, но на гражданке первым делом – врачебная комиссия, не лагерная, меня там не будет. Вместо меня два голеньких существа – активированный зека Стержиков и ваш покорный слуга в образе бумаги с медицинским заключением. Все документы обязательно затребуют в медицинский отдел при тамошнем управлении НКВД. Сами понимаете, что-либо приписать – означает собственноручно изготовить смертельный приговор самому себе. Бессмысленное дело: и вам – не помочь, и себя погубить. Впрочем, об этом пусть у вас голова не болит. Списать вас лагерному начальству волей-неволей, но придётся. На снимке в боковом ракурсе виден осколок, значит, и позвонок повреждён, однако во фронтальном ракурсе ничего не видно. Пока вы ещё держитесь на ногах... Отправят вас на поселение. Начисто гражданских прав не лишат, а дальше – как Бог даст... Придётся выживать... Как нам всем... сколько вы уже у нас – три недели, а надо – минимум шесть недель, так что вы у нас ещё погостите. Третий справа отросток смещён; остальное за это время срастется. Покой и минимальная подвижность, не дай Бог, сдёрнуть осколок с места.

Пока длились весьма нечастые встречи с врачом, фактически отпускающим Стержикова на все четыре стороны, Андрею Георгиевичу не терпелось «активироваться». Попав в лагерный лазарет, где никого нельзя было упрекнуть в недержании речи (в лагере вообще душа нараспашку – непростительное нарушение общепринятого этикета), Стержиков быстро осознал, что лишние вопросы – лишние проблемы. Так что пришлось примириться с режимом максимальной немногословности. И никогда не пытаться затевать с кем бы то ни было разговор по душам.

КОМБАНК

... Прибывшего после активирования за два года до окончания войны на место старой ссылки Стержикова комендатура поселила в здании, где располагался Коммунальный банк. Окна банка, забранные голубенькими железными решётками, выходили на улицу Фурманова.

Он отоваривал хлебные карточки в соседнем магазине. Иногда банк без всякого зачисления приглашал его на мелкую срочную работу: он разбирал архив, а то и на арифмометре проводил подсчёты, которые потом попадали в отчёты стационарных сотрудников.

За одноэтажным банковским зданием на высоком цоколе находился двухэтажный «небоскрёб», где жил министр финансов республики – Мигайло с двумя детьми, женой и прислугой – жил же кто-то и в это время по-людски. Впрочем, не совсем. Стержиков наблюдал в архивное окошко, как Валла – так называли министерскую дочь Валю все подобострастные подчинённые её отца и заодно несовершеннолетние обитатели барака, выстроенного во дворе Комбанка, – появлялась во дворе. Тесный барак построили временно для бездомного люда, пригнанного на стройку министерских хором. И барак, и мобилизованные бездомные остались здесь навеки.

А во дворе играли в мирные игры. Папаша Валлы привез дочке сделанные на заказ игрушечные весы со стрелкой в ромбовидном двустороннем экране. Она изображала продавца, а барачные дети выстраивались в очередь, чтобы им отвесили кулёк песка или гальки на таком чудном приборе. Иногда Валла уступала место попрошайкам, рвавшимся поиграть в продавца, но в основном, огромная очередь детей играла в покупателей.

Таков был слепок того мира, от которого Стержиков по строю своих художественных мыслей оставался далеко-далеко, а вот географически его самым коротким поводком привязали к неравенству, процветавшему за окном и калечившему детскую душу в самом нежном возрасте.

Больше всего ему самому хотелось поиграть в знатока Шекспира, однако Андрей Георгиевич только усмехнулся, представив, как он в галошах, привязанных шнурками на манер лаптей, выйдет перед артистами, шикарно одетыми, частично из реквизиторских отмерших спектаклей, перед этими суетными и малообразованными людьми, чтобы покорить заразной претензией на высокохудожественное существование, да ещё и за зарплату, на которую он купит, наконец, на барахолке у армянского сапожника лакированные узконосые башмаки нужного размера. Как разумно он поступил – пошёл к Ашоту, и на несколько дней взял те самые ношенные, но вожделенные туфли. Пришлось пообещать сапожнику заплатить за прокат рублей с полсотни из ожидаемых банковских доходов, или вообще выкупить полностью.

Приходили в голову и другие несбыточные прожекты, мешавшие сочинителю думать о хлебе и бранных заботах неустроенного быта.

ГЕРМАНИСТ ПОРАБОТАЛ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Сквозь сон Стержилов смутно слышал, будто кто-то шевелится около двери, потихоньку царапает ободранную обшивку. Бедному жилью Андрея Георгиевича кража нестрашна, всё же он встал, тратить время на то, чтобы одеться, не пришлось: накануне зачитался в постели, и раздеться не получилось. За дверью стояла дворничиха тётя Ксюша, в правой руке белел небольшой бумажный листок.

– Оставлять не хотела, – сказала тётя Ксюша. – Вот, распишись... Вызывают...

Знакомой дорогой Стержилов отправился в отделение НКВД.

Старший лейтенант Порохов встретил Андрея Георгиевича невнимательно, сесть не пригласил, что само по себе можно было считать добрым знаком. «Значит, ничего серьёзного...» Обошлись и без рукопожатия.

– Поднимитесь к майору Карпухину. Он не в своём кабинете... Из-за ремонта... Закончить не успели. Так что вы, пожалуйста, тише воды, ниже травы... Не дай Бог, попадёте под раздачу. Комната 27-я. Табличку ещё не повесили, найдёте, не в тайге...

Найти временное помещение старшего следователя Карпухина, действительно, не составило большого труда. Посетителю в помощь некий хозяйственный человек прикрепил кнопками к двери кусок картона; на нём-то и поместилось фиолетовое число 27.

Похудевший со времени последней встречи со ссыльным, Карпухин, очевидно, дожидался Андрея Георгиевича:

– Что-то вы подзадержались, Стержилов. Какую полосу препятствий преодолевали?

– Так ведь, – не растерялся Андрей Георгиевич, – день только начался. Я к вам спешно; все дела отложил...

– И правильно поступили. Вот какая в вас нужда... – и майор взял в руки письмо, лежавшее прямо перед ним, отсоединил листочек, прикрепленный блестящей скрепкой, и протянул помятый конверт Стержилову. – Из Алтайского края... Написано на немецком... Необходимо перевести... Не забыли язык, справитесь?

Стержилов, которому майор так и не предложил присесть, вытащил из конверта листок и пробежал первые строки письма.

– Справлюсь. Василий Ефимович, можно взять с собой...

– Не выйдет, Стержилов, не получится... Во-первых, надо срочно. Во-вторых, кто же позволит служебные бумаги выносить из отделения. Разъяснить не надо, понимаете сами? На первом этаже есть свободный кабинет... Сейчас спуститесь к старшему лейтенанту, я позвоню ему, он вас и проводит. Идите, за письмо отвечаете головой. Цените доверие...

Конечно, начальственная доброжелательность майора не могла ввести в заблуждение Андрея Георгиевича. Тем не менее, от сердца отлегло: слава Богу, никакой «командировки» ждать не приходилось.

Старший лейтенант Порохов встретил Стержилова на пороге, подал ему несколько листов бумаги, прибавив: «Чернила и ручка там есть». Потом вместе с ним прошёл в адъютантскую комнату, по пути подозвал старшего сержанта, стоявшего поодаль, и показал глазами на Андрея Георгиевича. Сержант быстро подошёл и легко коснулся плеча Стержилова. Они вдвоём зашли в кабинет; здесь новоявленный переводчик, усевшись за единственный стол, стал читать немецкое письмо, а сопровождающий занял место на новеньком казённом диване, чтобы присматривать за подопечным.

Ничего, что было бы достойно особого внимания, в письме не нашлось. Никому не интересные подробности домашнего характера. Могли бы цензоры, проверяющие почту, читать по-немецки, данное письмо без задержки попало бы к адресату. Андрей Георгиевич потратил на черновик перевода не более получаса. И вдвое больше на то, чтобы переписать готовый текст каллиграфическим («чертёжным») почерком.

Оригинал и перевод Стержигов, опять-таки в сопровождении случайного конвоира, понёс Порохову.

– Перевели? Хорошо. Возвращайтесь к майору.

«Доброжелательный» Карпухин опять не позволил переводчику расположиться в кабинете поосновательней. «Понятно, – подумал Стержигов. – Кабинет чужой, майор здесь не хозяин и не в своей тарелке».

Карпухин положил письмо вместе с переводом на стол.

– Неплохо. Будем знать, что у вас с немецким языком всё в полном ажуре. Так, теперь...

Андрей Георгиевич приготовился отчеканить официальную формулу:

– Разрешите идти... – однако майор сказал:

– Подойдите, Стержигов. – Вот вам расходный ордер на семьсот рублей. Пройдите в бухгалтерию и получите деньги, вот вам также карточки на два килограмма костей и килограмм ливера. Это заберёте не здесь, на мясокомбинате. Там специальный магазин есть.

Обрадованный неожиданным заработком, Андрей Георгиевич погрузился в приятные размышления:

«И спорить не о чем: классная везуха. На рынке – эти семь сотен – пять буханок хлеба. А по карточкам – только четыреста грамм. Фунт ситного». В столовой Комбанка выдавали в день две поварёшки жидкого горохового супа. У Стержигова хватало терпения не проглотить суп в два глотка, а бережно перелив в банку, донести домой и обедать в одиночестве. Комбанковский суп даже не успевал окончательно остыть, пока Андрей Георгиевич шёл от подвальной столовой до своей комнаты, расположенной на первом этаже, над высоким цоколем.

Опомнившись, Стержигов спросил:

– Можно быть свободным?

Майор, не отвечая, до половины выдвинул ящик стола, достал конверт и протянул Андрею Георгиевичу:

– Это вознаграждение из специального фонда – отдельная благодарность за помощь органам.

– Так, меня, что завербовали? – довольно бесцеремонно спросил Стержигов и сам поразился неожиданной наглости своего поведения в казённом кабинете.

Неулыбчивый майор Карпухин негромко рассмеялся.

– Это – честно заработанные деньги. А завербовать вас... С вашей «статьёй» у нас не работают. Можете не беспокоиться, пока с вами расстаюсь и благодарю. Приятно иметь дело с интеллигентным человеком.

Похвала майора не переменяла скептического настроения Стержигова. Но открывать свою враждебность даже доброжелательному офицеру НКВД не имело никакого смысла. «Отправить бы тебя, майор Карпухин, в лагерь. На лесоповале ты бы познакомился со многими приятными интеллигентами».

По дороге домой Андрей Георгиевич несколько раз осторожно притрагивался к брючному карману. Однако тревожился напрасно – конверт оставался на месте.

Добравшись до полупустой комнаты. Стержигов заглянул в незапечатанный конверт и достал из него тысячу рублей. Новенькие сторублёвые купюры призывно

похрустывали. «Скоро, совсем скоро полетите вы мелкими пташечками, – обдумывал дальнейшую жизнь разбогатевший ссыльный человек. «Значит, покупаю на базаре масло, настоящее коровье сливочное масло. Имею право разговеться после долгого поста. Сколько же оно стоит? Даже цены не знаю. И пока при деньгах, бегом за керосином. Который день примус стоит холодным...»

Он не сел за переписку нот не потому, что «баснословно разбогател», а потому, что боялся даже на день отсрочить покупку самого необходимого, он разложил обретенные деньги во всевозможные карманы и карманчики потрёпанного пиджака и даже в разбитые ботинки, тщательно завернув по одной купюре в бумажку, засунул под пятку, надорвав матерчатую прокладку стельки. Стопка газет всегда лежала у него в углу комнаты. Андрей Георгиевич таскал их отовсюду, потому что зимой ими можно было обернуть грудь и поясницу, намотать вместо портянок на ноги. Наконец, газеты заменяли всё: полотенце, скатерть, салфетки... и стирать не надо.

Если бы ему в тридцать восьмом году показали его одежду сорок второго года, он рухнул бы в обморок, но если бы ему в сорок третьем показали его же самого конца пятидесятых годов, он бы расхохотался в лицо людям, столь злобно шутившим.

Срок поселения для Стержикова закончился на второй год после окончания войны. Но освобождение оказалось неполным: уехать в Москву не разрешали. С концом срока совпала отмена продуктовых карточек. Андрея Георгиевича сняли с довольствия. Работать позволили, только предложили работу искать самому. И Стержиков предпринимал беспрерывные попытки найти какой-нибудь заработок.

Однако он не менял образа жизни: ходил на выставки, в кино, к некоторым знакомым. Иногда оставался в театре на вечерний спектакль после каторжной переписки нот. Было у него любимое место – ложа слева под потолком, куда билетов не продавали.

ЗНАКОМСТВО С МАТВЕЕМ КИРИЛЛОВЫМ

...Первое посещение Кириллова, куда Андрея Георгиевича привёл Лев Борисович Тальдман... Правда, он уже немного знал этого художника. Совсем недалеко от его дома располагалась галерея имени Шевченко, где ссыльнопоселенец впервые увидел работы Матвея Кириллова. Сам Тальдман тогда работал художником киностудии, расположенной рядом с галереей, и когда они встретились на открытии выставки Кириллова, Лев Борисович предложил их познакомить и сам отвёл Стержикова в мастерскую, которая находилась через дорогу от Комбанка.

В молодые годы Андрей Георгиевич, заглядывавший к московским живописцам, видевший просторнейшие мастерские на Нижней Масловке, иной раз со стеклянным потолком, поразился спартански-нищенской обстановке рабочего помещения художника. По сути дела, это была не особенно большая стандартная комната.

Здесь определённо не жаловали гостей. Разного размера холсты, всё по большей части натянутые на разнокалиберные подрамники, были, словно во время генеральной уборки, прислонены к давно немывтым и небелёным стенам. Стол, придвинутый вплотную к одному из двух окон, к тому самому, что смотрело на относительно тихую улицу, еле-еле выдерживал огромную грудку журналов, книг, альбомов, наваленных, как попало, и чудом, вопреки закону земного тяготения, державшихся вместе.

С правой стороны стола хозяин оставил узкую полоску, на которой разместились большой складной нож с обглоданным лезвием, тарелка с начатым лимоном и чёрно-хлебным бутербродом с куском плавленого сыра. «Натюрморт! Прямо-таки

ночлежка из пьесы Горького «На дне», – произнёс про себя Стержиков необходимо насмешливый приговор владельцу мастерской.

Без лишних слов Кириллов приступил к показу картин, до нынешней минуты по воле хозяина расположившихся лицевой стороной к стене. Стержиков оценил крепкую хватку Матвея Алексеевича в живописном ремесле, взглядевшись в большой прямоугольник картины «Велосипедисты», отнёсся безразлично к нескольким вещам, изображавшим растекающийся по небесам расплывающийся облачный след очевидно, ракеты. Аккуратная авторская надпись в правом углу картины кратко сообщала о сюжете – ни много, ни мало «Звёздное путешествие». «Э! – сказали мы с Петром Ивановичем... – улыбнулся Стержиков. – И ты, Брут, не избежал модного космического засилья». Вот и в череде весьма неплохих портретов оказалось изображение симпатичного молодого человека студенчески-гуманитарного облика, но какое отношение к нему имело победно-фанфарное название «Свет дальних сфер»?

Осмотр комнатного собрания произведений живописи, своего рода персональной выставки художника Матвея Кириллова прервал громкий стук в дверь. После чего она приоткрылась, в проёме на мгновение показалась светло-рыжая женская голова, деловито провешивавшая:

– Матвей Алексеевич, ваша очередь подошла. Поторопитесь, а то Стадниковский залезет вперёд... Если он успеет затащить свои работы, так это надолго, ой, надолго. И какое настроение у комиссии после Стадниковского, не мне вам объяснять. Не искушайте судьбу, поспешите! – Голова исчезла, дверь захлопнулась, и Кириллов, огорчённо посмотрев на Стержикова, сказал:

– Экспертная собралась. Придётся идти, не то без куска хлеба останешься... Побудьте здесь. Я не задержусь – со мной расправятся быстро. Одну картину купят, чтобы художник Кириллов не отдал концы на пороге мастерской... Как напутствовал некий местный аксакал молодого скульптора, краснодипломную выпускницу столичной Суриковки: «Работать здесь будешь, зарабатывать никогда». Ладно. Главное, Стадниковского упредить... Вы сами смотрите дальше. Ворошите, перебирайте. Я – скоро вернусь...

«Наконец-то остался один...» – обрадованно думал Андрей Георгиевич. «Вот и разберусь сейчас, почему в моём невысказанном отношении к любезному аристократу Тальдману, к основательному Кириллову есть нечто такое, что мешает мне принимать людей в своё сердце. «Это же не только со Львом Борисовичем и Матвеем Алексеевичем. Не потому ли, что я побывал в каторжниках и хоть и выбрался, доходяга, но они мне неровня. Это моё «дворянское» происхождение, моя избранность, которой им не понять никогда».

– Каторжник лучше свободного человека, – продолжал размышлять Стержиков. – XX век породил целую индустрию романов о туберкулёзниках, обречённых и смирившихся, и даже ощутивших собственное превосходство над простыми смертными. Роман Ремарка «Жизнь взаимы» написан с позиции гонщика, ежедневно рискующего потерять жизнь. Такому человеку более подходит подруга, которой угрожает смертельная опасность. Но не деловитая, хозяйственная фрау, пышущая отменным здоровьем, чей житейский конец не брезжит. А в «Волшебной горе» Томаса Манна та же коллизия: Ганса Касторпа лихорадит, но обитатели туберкулёзного санатория не признают эту лихорадку слишком серьёзным недугом.

Между тем, неопасно заболевший человек влюбляется в смертельно больную русскую женщину с киргизскими глазами – Клавдию Шоша. Красавица из России сознаёт свою привилегированность не только потому, что её глаза, как «волчьи огоньки в степи», но и по причине смертельной болезни. Она издевается над «ма-

леньким бюргёром с влажным местечком», чувствуя свою избранность накануне гибели.

На эту тему есть стихотворение русского поэта. Маленькая девочка, получившая к обеду тощую котлетку по номеру стола в больничной столовой, отдаёт половину порции мальчику, обнесённому скудным лакомством в голодное время. Одновременно она гордится своей добротой и своей болезнью: «У меня был туберкулёз, а у него нет!»

Давно беспокоила Стержикова малоприятная черта собственного характера: та которая не то чтобы надменность по отношению к людям, не прошедшим лагерную выучку, а некое презрительное высокомерие. Всё это в микроскопических дозах, да и чем здесь козырять обыкновенному лагернику: преодолёнными страданиями, когда просто выжить равносильно великому подвигу? Однако малейшая попытка намекнуть в обыденном разговоре на сопричастность к чему-то героически необычному сразу обесценивает высокую принадлежность к подневольным подданным лагерной империи за колючей проволокой. От подвига ничего не остаётся, а сам себе кажешься пустоболтом и бахвалом.

Что из того, что отмотавшие тот или иной срок по «льготной сталинской путёвке» ежовского чекана (ведь вполне могли припать «десять лет без права переписки») чувствовали себя некой особенной группой, которая «выше по касте». И ничуть не помогала убеждённости в превосходстве над теми, кто не вкусил скудной лагерной пайки, удушливой вони и противного пресного тепла тесного барака, ежеминутной горькой незащищённости, всей страшной жизни, в которой человеку отказано в благотворном одиночестве. Это превосходство, вроде бы объяснимое и простительное, всё-таки тяготило Андрея Георгиевича, как некая неопасная долговременная болезнь. И он сам себе настойчиво советовал: пора перестать быть хроником...

Стержиков походил по мастерской и остановился перед не сразу замеченной квадратной картиной небольшого размера. Казалось бы, обыкновенный парковый пейзаж: синяя гладь пруда, на ней золотые листовенные кораблики, на близком берегу молодые, почти полностью облетевшие берёзы: последним листочкам совсем недолго осталось трепетать под осторожным осенним ветерком. Яркая небесная лазурь как раз и насытила полным цветом водную поверхность.

И вспомнились Андрею Георгиевичу давние довоенные дни, времена безмятежные, когда душа легко-легко стряхивала неприятные впечатления, горькие раздумья, когда, сколько хватало сил, бродил, не останавливаясь, из края в край Дальнего парка, первостепенно любимого, хотя хороши были и другие городские парки – Сосновый, Почтовый и Гвардейский. О каком презрении к современникам в те дни могла идти речь? Совсем-совсем наоборот: к любому встреченному на жизненной дороге человеку Стержиков испытывал родственно-притягательное чувство, симпатию, и хотелось знать о незнакомце, которого послал Бог, как можно больше.

Но жизнь его крепко помяла. Все эти мысли, которые лезли в голову, не свидетельствовали о полном душевном здоровье. Почему нельзя жить свободно? Что за страсть расцарапывать почти зажившие раны!

Всё-таки на следующий же день Андрей Георгиевич заскучал без Кириллова и для приличия, пропустив неделю, опять пришёл к нему в мастерскую. Так, мало-помалу узнавая человека, он, можно сказать, привязался к нему. Заговорили также о довоенной «дегенеративной выставке» и о чудных художниках Павле Филонове и Антоне Евгеньеве.

Кириллов учился в Ленинграде, в Академии художеств. После Пермского художественного училища, приехал в Ленинград совсем молодым мальчишкой,

провалил экзамен за деревенские обороты в сочинении. Только потом конфликтная комиссия, по требованию мастера, признала речь провинциала вполне приемлемым русским языком; и приняли Матвея в Академию за несколько эскизов, а также за удачный ответ на экзамене. Когда абитуриенту показали загадочную, невиданную им никогда картину, он ответил: «Или это Боттичелли, или кто-то рядом с ним». Оказался, действительно, ученик Боттичелли. Эта простая бесхитростная история очень импонировала Стержикову. Он смеялся, радовался и часто вспоминал её.

ЗАРЕЧЬЕ

Стержиков упорно искал постоянную работу, и эти поиски сильно раздражали начальственных людей, к которым он обращался за помощью.

Начальники, директора, заведующие удивлялись просьбам Андрея Георгиевича. Они его действий не понимали, объяснения, что ему необходимо вернуться в Москву, встречались в штыки: «Москва – город режимный, возвращение людей с судимостью невозможно. Скажите спасибо, что вас из Яблоневого града не выслали подальше. Устраивайтесь здесь и не высовывайтесь».

Найти работу долго не удавалось. Время от времени перепадала переписка нот в тесной каморке позади театральной кассы. Как хорошего, аккуратного переписчика Андрея Георгиевича ценили и несколько раз предлагали принять в штат Оперного театра. Он отказывался, потому что это кропотливое занятие, отнимавшее много времени, здорово утомляло. К тому же он почувствовал, что зрение заметно ослабело.

Не радовала и зарплата – Стержиков за месяц зарабатывал сдельно четыреста двадцать рублей. Уборщицы в театре получали по шестьсот.

Тем временем на голову Андрея Георгиевича свалилась новая напасть. Не успел он порадоваться тому, что закончилось обязательное хождение в комендатуру, чтобы отмечаться, как ему вручили судебную повестку. Казкомбанку для подсобного помещения понадобилась комната, в которой проживал Стержиков. Судья сочувствовала Андрею Георгиевичу и попыталась уговорить Комбанк оставить его, пока он не получит разрешения возвратиться в Москву.

Напрасно. Банк люто настаивал на своём требовании. Позволили задержаться только на две недели. А дальше – на все четыре стороны. Сожалея о скорой потере обжитого жилища, Стержиков продолжал переписывать осточертевшие невагнеровские ноты.

Здесь его и нашёл Полонский. Сообщив ему, что завлит ТЮЗа получила разрешение на выезд в Москву, где её дожидалась довоенная должность в литчасти МХАТа, и здешнее место пока освободилось, он предложил тотчас отправиться к тюзовскому директору. Наталья Ильинична Сац, ещё не завершившая хлопоты по созданию театра, немедленно приняла Стержикова на работу.

Повеселевший и приободрившийся Андрей Георгиевич отправился в Заречье, второе неофициальное название – «Компот» (за окраинные улицы Вишнёвая, Грушова, Садовая, Яблочная) – в поисках жилья. Довольно-таки скоро нашлась приличная комната с печным отоплением за двести рублей в месяц. Дрова и уголь «за счёт квартирсыёмщика».

Утром и вечером, когда не требовалось быть в театре, Стержиков корыстно бродил в округе – собирал топливо. И думал о себе насмешливо – «Вернулся на лесоповал...»

Полонский продолжал принимать участие в судьбе Андрея Георгиевича. Пристроил Стержикова литературным консультантом – одна лекция в неделю – в

Русский театр драмы. А по протекции Тальдмана, Андрея Георгиевича взяли почасовиком на кафедре литературы. Нагрузка – два академических часа в неделю.

Помогло-таки Стержикову в жизни филологическое образование.

Возвращаясь поздними вечерами в «приличную комнату», Стержиков иной раз недалеко от своего дома встречал незнакомую миловидную девушку. Сначала стали просто здороваться, потом разговорились. Как выяснилось, Александра, дочь генерала, слушает лекции Андрея Георгиевича и также проживает в «Компоте», в добротном каменном доме. Слово за слово – роман вспыхнул. Шурочка, тоненькая, как тростинка, по душе полный антипод Валлы, любила его и прибежала на свидания в предвечерние часы. Её переполняла жажда пожертвовать всем ради Андрея, изгоя, бездомного и бесприютного писателя. Он ещё не обладал полной мерой доказательств своеобразного литературного таланта, но они клубились в его голове, как мыши, причём, летучие, потому что по ночам. Шурочка – студентка 3-го курса КазГУ, слушала его лекцию в первый раз, когда пришла на семинар доцента Пронина, один раз уступившего Андрею Георгиевичу сорок пять минут из своей пары, не только благотворительности ради, но частично для проверки возможностей новоиспечённого преподавателя. Он тоже был жителем Заречья и принял доброе решение – подкормить собрата-интеллектуала. Андрей Георгиевич взял у Пронина деньги, правда, не без боя, за один академический час. Он сопротивлялся, неожиданный благодетель настаивал, пришлось уступить.

Нет, не был Андрей Георгиевич совсем одиноким человеком: и в то время жили вполне приличные люди.

В ГОСТЯХ У ПОЛОНСКОГО

Бывший заключённый безбрежно-проклятого Хабарлага Андрей Георгиевич Стержиков, ныне освобождённый по болезни и непригодности к физической работе и с превеликими стараниями добравшийся до Яблоневого града, места ранней юности и первой ссылки, приблизившись к дому литератора и кинодраматурга Глеба Сергеевича Полонского, остановился в некоторой растерянности. Нет, нет, вовсе не потому, что Андрей Георгиевич ни разу здесь не появлялся. О хозяине, пригласившим посетить его «мирные пенаты», Стержиков был не только наслышан. Он был щедро обласкан заботой коллеги.

Кое-какие знакомые, по милости судьбы оставшиеся в Яблоневом граде с предвоенной поры, с того самого времени, когда Андрея Георгиевича – после самовольной отлучки в Москву, на премьеру вагнеровско-эйзенштейновской «Валькирии», арестовали и без лишних проволочек отправили поближе к Стране восходящего солнца, уши прожужжали про Полонского. Про поразительную образованность и неслышанную начитанность сего господина, про полюбившийся всем полуподвальчик, в котором и обретался уникальный Глеб Сергеевич. А также про многое прочее.

Ранее открытый всем ветрам и гостям прият, в котором для любого забредшего всегда находилась чашка горячего кофе, именовался «У Фрица» (В молодости хозяин получал образование в Мюнхене). В военные и дальнейшие годы полуподвальная кофейня поневоле обрела иное, не вызывающее опасных, неприятных ассоциаций имя, и называлась теперь нейтрально-уютно – «У камелька». Кофе и вправду подавался горячим, и над чашкой вился лёгкий парок, и что из того, что для приготовления фирменного напитка, как правило, применялся какой-нибудь подходящий заменитель в виде морковного кофе с желудёво-гороховым припаем.

Гость задумчиво и неторопливо рассматривал те самые окна полуподвального

помещения, упирающиеся нижним краем в обочину мостовой. Нет, всё ещё не спешил Андрей Георгиевич как можно скорее оказаться в добросердечном пристанище всех мыслимых и немыслимых муз. Он испытывал страстное желание заранее знать, зачем он, совсем недавний безработный и бесприютный оборванец, через силу поднявшийся с казённой железной койки, а сейчас почти что задаром квартирующий у тётушки Нюры, сторожихи детского сада, что располагался в ореховом саду, понадобился столь известному в Яблоневом граде Полонскому. Этот самый Полонский со времен военного лихолетья служил на местной киностудии штатным сценаристом, его даже как-то приглашали на должность консультанта грандиозного фильма об одной из самых грозных личностей в русской истории.

Кое-как завязанные половинками тощего шнура врасхлёт истоптанные ботинки, доставшиеся Стержикову в наследство от прежнего постояльца Анны Никитичны, немилосердно хлябали, в руках Андрей Георгиевич держал толстую книгу. По пути к Полонскому «наследник» забежал в одноэтажное зданье книжного магазинчика, окна которого были забраны давным-давно проржавевшими решётками.

Бывший москвич Стержиков порой забредал в провинциальную книжную лавчонку, где на обратной стороне входной двери выцветший бумажный клочок с незапамятных времён деловито возвещал: «Продажа во всех книжных магазинах Книготоргового объединения. Почтовые заказы направлять по адресу: Москва, 64». Не раз и не два «путешествующий по казённой надобности» Стержиков, задерживаясь перед ржавой решёткой, позволял себе беспочвенные мечтания на тему, как бы направить самого себя, хоть в виде почтового заказа, по прекрасному адресу: «Москва, 64».

...Однако Андрей Георгиевич уже успел войти в тесное полутёмное помещение магазинчика.

Миленькая курносенькая пышка-толстушка, скромненько называвшаяся Галиной, недолго сопротивлялась наступательным уговорам Стержикова, клятвенно пообещавшего расплатиться ближе к вечеру. Андрею Георгиевичу безмятежно подумалось: «Скорее всего, натурой, поскольку в кармане, как у общеизвестной церковной мыши, вошь на аркане». Прижимая к груди толстый том, новоявленный должник, покинул продавщицу и прохладный сумрак магазинного пространства.

* * *

– Вы, дорогой Стержиков, – послышался легкозвучный говорок за спиной Андрея Георгиевича, – напоминаете мне Александра Васильевича Суворова, вычисляющего высоту штурмовых лестниц, каковые понадобятся при взятии неприступной басурманской крепости Измаил.

На посетителя, пришедшего по известному адресу, дружелюбно поглядывал невысокий человек с малоприметной хитрецей в полуприкрытых ласковых глазах.

Не задумываясь ни на мгновение, тем более, что дерзости Андрею Георгиевичу было не занимать, Стержиков находчиво отозвался легендарной суворовской фразой:

– Нет, нет, дорогой Глеб Сергеевич, я составляю послание неразумному упрямцу Селим-паше: «Сдача фортеции – немедленно; двенадцать часов – штурм; двадцать четыре часа – смерть!...»

– Да... «Глазомер, быстрота, натиск!» Превосходно. Вообще-то, дотошные биографы Александра Васильевича согласятся с вами не полностью, зато направление главного удара – верное. Так, пойдёмте, поскольку «Промедление смерти подобно...»

И Стержиков, вместе с Полонским, встретившим долгожданного пришельца на ближних подступах к своему жилищу, прошли сквозь блёкло-зелёные железные ворота меж низких каменных, неровно обработанных столбов, во двор, тесный от разросшихся карагачей и тополей. Под одним тополем сиротливо притулился неказистый самодельный стол с раскрытой шахматной доской, такой обшарпанной, словно она служила ещё и для стирки белья. Фигур, впрочем, в наличии не имелось.

Глеб Сергеевич, приметив мимолётный любопытствующий взгляд спутника, по-хозяйски махнул правой рукой в сторону стола и обронил:

– Обеденный... При хорошей погоде... Действует от весны до осени...

Не прерывая объяснений, он дружески-деликатно, однако же и нетерпеливо продолжал подталкивать гостя в спину. На пороге, за которым начинались ступеньки короткой лестницы, ведущей вниз, Полонский чуть попридержал ведомого, давая возможность без спешки осмотреться в подвальчике, чувствительно припахивающем керосином и хозяйственным мылом. Но поверх всех обыкновенных запахов повеяло таким аппетитнейшим ароматом свежеприготовленного борща, что у Стержикова против воли потекли слюнки. Хорошо ещё, что подвальная полутьма позволяла скрывать голодный блеск в глазах.

– Не задерживайтесь, не задерживайтесь, вот так, сюда, сюда, – любезно-покровительственно ворковал Полонский, подставляя гостю расшатанный, тревожно-предупредительно скрипящий венский стул. Заняв предложенное место и вежливо привстав, Стержиков, не говоря ни слова, протянул хозяину тот самый том, завёрнутый в «Казахстанскую правду».

– Значит, явились не с пустыми руками, соблюдали положенный церемониал, – одобрительно поглядывал на Стержикова Глеб Сергеевич, а сам тем временем, шурша газетным листом, очень ловко разворачивал принесённый свёрток. – Похвально, отменно приличные манеры, отменно. Наверное, любимое профессорское чадо? Не так ли? Осматривайтесь, обживайтесь, коли не торопитесь.

– Нет, нет, и не думаю торопиться, – успокоил хозяина-хлопотуна Стержиков.

Нестерпимо-умопомрачительный запах горячего борща проникал и сюда. Стержиков мечтательно размышлял: «Что ж, торопиться-то? Может, перепадёт тарелка горячего, искрасна-бордового борща»...

Полуподвальная комната с двумя нестандартного размера окнами блистала и сверкала прямо-таки корабельной чистотой. Кстати, имелись здесь и кое-какие предметы, как бы прямо сообщающие посетителю о несомненной принадлежности хозяина к морякам и ко всему морскому и матросскому. На одном из подоконников в царственном одиночестве поместилась огромная палево-розовая, сияющая разноцветным перламутровым блеском, раковина, бесспорно не черноморская и даже не с берегов Адриатики или Северной Африки. А над старинным, в полстены, могучим буфетом морёного дуба находились часы: циферблат с цифрами римской графики внутри карминно-красного, окаймлённого широкой белой полосой спасательного круга. На этом предмете неперменной корабельной принадлежности вверху и внизу смоляно-чёрной краской было каллиграфически выведено «Хроносъ»... Необъяснимая дороговизна подвальной обстановки заинтересовала пришедшего.

Мельком взглянув на старинный портрет молодого морского офицера с аккуратно подстриженной светло-рыжей бородой, Стержиков непроизвольно встал, поскольку перед ним, на северной стене комнаты, между буфетом и левым окном загадочно-отстранённо светилось (иного слова и не подберёшь) живописное полотно. Не очень больших размеров, но и не этюд, не набросок. Вещь законченная.

и в простенькой светло-серой раме. Андрей Георгиевич, как поднялся, так и замер в почтительной неподвижности.

Несколько минут не шевелился Стержиков, поражённый необычностью задуманного мастером сюжета. Новоявленный зритель никогда раньше не встречался с подлинником картины, зато знал о её существовании давно. Точнее, знакомился с эскизами к ней. Запомнилось странное название «Корабль королей», решительно и неизбежно вызывающее в памяти филоновский «Пир королей». Очевидная провиденциальная странность, исходящая от работы мастера, более всего заключалась в людях, по замыслу художника собравшихся в одном месте, на палубе вневременного парусника. Содержалось в картине нечто неизъяснимое, что повелительно заставляло, не отрывая взгляда, смотреть на загадочное живописное произведение, впитывать все его краски, все его линии, чтобы впоследствии видеть таинственный корабль, внутренним взором, если даже никогда более не суждено встретиться с ним воочию.

...На отмытой до голубоватой белизны корабельной палубе собрались матросы, числом около дюжины. Он не успел их пересчитать. Иные – отменно мускулистые, хоть сейчас запрягай в бурлацкую ямку. Другие – комплекции хрупкой, нежно-деликатной. На первый быстрый взгляд каждый занимался своим делом. Кто-то чинил светлую от соли рыбацкую сеть; кто-то выплёскивал за борт из брезентового ведра камбузные помои, и к стремительно летящей вниз мутной струе тотчас стремительно понеслись чайки; несколько человек взбирались по вантам, поглядывая на товарищей, отчаянно драивших совершенно чистую палубу; были и такие, кто с весёлой лихостью быстро скатывал тяжёлое парусное полотнище. Всем нашлось занятие, и всё исполнялось с многократно отрепетированной чёткостью.

Правда, около корабельного борта неподвижно застыл одинокий моряк, столь напряжённо всматривавшийся в синие морские дали, словно дожидался некоей знаменательной весточки, от которой неумолимо зависела его жизнь или смерть.

– ...Не видно на нём капитана... – тихонько пробормотал Стержиков, мельком оглянувшись на поклонника морской символики, в данное мгновение целиком погрузившегося в пристальный просмотр книги, принесенной гостем, впервые переступившим порог гостеприимного «Камелька».

Но капитан нашёлся!.. Он стоял вполоборота к зрителю, на краю просторной палубы, совсем близко к передней части корабля; это был высокий, узкий в кости мужчина, с подчеркнута прямой спиной, точно в такой же грубой матросской рубахе, как и все остальные, но с таким серьёзным, сосредоточенно одухотворённым лицом, что ошибиться было невозможно – верный курс прокладывает именно этот неулыбчивый человек с выправкой офицера российского императорского флота.

К капитану очень осторожно, почти крадучись, приближался ещё один матрос; вот его-то спина слегка согнулась с какой-то неотразимо хищной подобострастностью... А смотрел он на корабельного начальника покорно-ласково, и даже его аккуратно прибранные круглые брови искательно приподнялись с великой готовностью тотчас броситься исполнять, что только ни прикажут...

Тем временем к Стержикову с раскрытой книгой подходил добродушный Глеб Сергеевич. Гость, не забывавший о томящемся в глубинах дома предвкушаемом борще, не мог отказать себе в нечастом удовольствии удивить хозяина и сказал, всей ладонью показав на картину:

– Антон Евгеньев...

Полонский уважительно посмотрел на Андрея Георгиевича:

– Вот какие мы тонкие знатоки. Откуда, позвольте спросить, знакомство с малоизвестным живописцем, загремевшим в опалу ещё до того, как он взял в руки кисть?

– Объяснение простое. В ленинградском путешествии, предпринятом в 1938 году, я видел эту картину в работе. Вроде ничего особенного, разминка искусной кисти, однако, раз увидишь, больше ни с кем не спутаешь. И всё-таки вообразить «Корабль королей»... Нет, невозможно. Это – копия...

– Почему вы так думаете?

– Я видел её в полном размере на мольберте ещё в карандашном рисунке по грунтовке. Это был холст, думаю, 100 на 60. Ваша копия в два раза меньше. И эскизы видел, числом не менее пятнадцати ... А краски почти те же самые.

– Это совершенно точно. Копия работы искусного Василь Василича... Говорова... Мастер – он и в копии мастер...

– Для такой точности необходим оригинал.

– Говорю вам – мастер. Всё по памяти, по довоенному впечатлению. Говоров в нашем городе после войны остался. Работал у Эйзенштейна на «Иване Грозном».

– Мне довелось знать Василия Васильевича. Он как раз и привёл меня в мастерскую Евгеньева в Ленинграде, в Кировском...

– Ну, поистине мир тесен. И тем не менее... – Полонский продолжал пристально присматриваться к Стержикову. – Да, видать, мы споёмся. Вы крепко угадали: преподнесли мне гончаровский «Фрегат «Паллада». Давно не переиздавалось превосходное сочинение Ивана Александровича. Перечитаю с наслаждением. Папа, кстати, Гончарова отличал, и не только романы. Прижизненное издание «Фрегата» – два массивных тома всегда находились под рукой. А неподалёку, правда, не столь открыто, хранилась книга особенная, наследственная. Ну, вы понимаете, какая...

– Понимаю, – за секунду до сказанного слова ничего не предчувствуя, вскрикнул Стержиков, пронзённый внезапной и убедительной догадкой. – Так там, на корабле, двенадцать?

– Не совсем, – Полонский строго-внимательно посмотрел в глаза гостю, впервые появившемуся здесь. – Есть ещё один... Вы же его заметили... – И Глеб Сергеевич встал перед картиной, и непонятный отсвет странной близости владельца полотна к тем людям, что со старательной небрежностью изображены художником, появился на приятном, слегка насмешливом лице хозяина.

– Так как же... – поднял глаза к подвальному потолку Стержиков, как осторожный заговорщик, безмолвно намекая на нечто, известное обоим собеседникам, и поводит головою из стороны в сторону.

– Не тревожьтесь напрасно, голубчик, не переживайте. – Полонский отошёл от картины словно время, отведённое на первоначальное знакомство с нею, закончилось, и направился к двери. – Не все столь сильны в дошкольной арифметике, как хорошо образованные профессорские отпрыски. Осилить – нет, нет. На первый взгляд, в предмете имеется только область обыкновенной цифири, ничего более запредельно-взрывоопасного. Да и кому, кроме нежелательных посетителей, являющихся без хозяйского приглашения и ведома, придёт в голову подсчитывать, сколько матросов на непонятном корабле. Вас, естественно, к таковым неприглашённым не отношу.

Глеб Сергеевич настойчиво-призывно распахнул дверь и на пороге, полуобернувшись, отчётливой скороговоркой произнёс:

– Впрочем, о живописи, о привлёкшем вас «Корабле» предпочтительно, неспешно побеседуем, когда встретимся в иное время. К слову, вашими вагнеровскими набегамы вы меня крайне заинтриговали. Пусть кратко, но хотелось бы послушать. Однако, также – потом, потом. Я позвал вас не за этим. Дело в том, что... Нет, всё же без борща, без шедевра малороссийской кухни, приготовленного Капитолиной Дементьевной в вашу честь, важная беседа решительно не пойдёт на лад. Жаль, сама

хозяйка – в отсутствии. Отнеситесь с пониманием к нашему домашнему обычаю – доверять гостю-неофиту сервировать обеденный стол. Так вы быстрее породнитесь с нашим кровом. Надеюсь, с такой обязанностью справитесь легко: невелика наука.

С последними словами Полонский быстро и бесшумно скрылся всё в той же полутьме крохотной прихожей, служившей также кухонькой. А в комнате побольше, что являлась одновременно рабочим кабинетом главы семьи, спальней супругов, гостиной и столовой, одинокий гость всё еще неподвижно стоял перед загадочной картиной. Неспроста замер перед «Кораблём королей» Андрей Георгиевич. Он никак не мог разобраться, отчего всё сильнее его охватывает необъяснимое чувство несомненной тревоги. Чем напряжённее вглядывался он в безмятежно-суровые матросские лица, в безбрежно-синюю морскую гладь, в белые, косо срезанные крылья чаек, взлетевших над кораблём, в слепяще-золотое клеймо, которым было помечено с краю самое большое парусное полотнище, тем неотступнее нарастало тревожное состояние души. Приближалось нечто страшное, обречённо-роковое, и это крутое, полновесное предчувствие ужасной, непоправимой беды, предвидение «полной гибели всерьёз» притягивало и завораживало.

«А ну, старина, подальше от чёртова омута! – сказал сам себе Стержиков. – Бог с ними, с мускулистыми апостолами в тельняшках, впрочем, вполне себе симпатичными боролатыми ребятами. – Андрей Георгиевич снисходительно усмехнулся, и эта невольная мимолётная усмешка, конечно, адресовалась ему самому. Он понимал, что ещё не раз придёт сюда, ещё не раз продолжит всматриваться в непонятную, неотразимую работу мастера, понимал, что подобное притяжение – примета подлинного искусства.

Именно теперь, совсем не вовремя, началось очередное – Второе – действие «Лоэнгрина»...

Доставая из антикварной буфетной громадины обеденную посуду, Стержиков загляделся на роскошно изображённый на дне тарелки басенный сюжет. Поставив на стол две тарелки, Андрей Георгиевич более внимательно рассмотрел элегантный темнокоричневый рисунок, и большая ярко-рыжая лиса, замершая с поднятой мордой перед крупной, просвеченной полуденным солнцем виноградной кистью, казалось, укоризненно-насмешливо скосила глаз на рослого недотёпу, который кое-как, но всё же в целостности-сохранности, донёс тарелки до стола.

Присоединив к тарелкам бело-зелёное круглое, очевидно, трофейное блюдо с сентиментальным изображением двух упитанных мальчуганов саксонско-баварского обличья, Стержиков достал из буфетного ящика разнокалиберные приборы и обломок мраморной плиты неизвестного происхождения, зато понятного предназначения.

Оркестр шаманил.

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

Месть и колдовские чары

Оркестровое вступление звучит при открытом занавесе.

Теперь праздника нет и в помине. Антверпенский собор, время около полуночи. На ступеньках мраморной лестницы в одежде бедных странников Фридрих и Ортруда. Они приговорены к пожизненному изгнанию; на рассвете они обязаны отправиться в печальное путешествие, чтобы никогда не вернуться на родину.

Муж и жена неодинаково воспринимают случившееся. Граф не может прийти в себя от пережитого поражения: его рыцарское достоинство поколеблено. Он в отчаянии. Ортруда по-иному отнеслась к победе Лоэнгрина. Она и не думает склонить

голову. Мечь, мечь во что бы то ни стало – вот чем занята её злая душа. И, как полководец, которого не сломила неудача, которому пришлось на время отступить, Ортруда обдумывает, какую гибельную ловушку приготовить влюблённым.

Обо всём рассказано бессловесно, музыкальными средствами. Задействованы приглушённые литавры, затем баритонально вступают виолончели, и это портрет безжалостного воинственного Фридриха; мелодия колючая, неуютная.

Стержиков и без программы помнит, как называется эта мелодия: «мотив колдовских чар». Сквозь магический виолончельный напев коварно прорастает «мотив мести», вынашиваемой Ортрудой. Пока она только готовится ужалить, но уже прикидывает, напряжённо соображает, где же самое уязвимое место Эльзы, где же, наконец, девушка остаётся совершенно беззащитной.

Вагнеровская Ортруда – женщина несокрушимого, запредельно волевого характера. Она из шекспировского интеллектуально-эмоционального вещества высшей прочности, одной преступной крови с бестрепетным интриганом Яго и хладнокровной вдохновительницей насильственных смертей – леди Макбет.

И опять на сцене не произнесено ни слова.

Но вот в музыке оперы возникает «мотив запрета». Да, вот она, вот путеводительная ниточка, придерживаясь которой можно добраться до истины, и тогда злосчастной дочери герцога не поздоровится.

Так вот, все слышали, что Лоэнгрин не разрешил любимой расспрашивать его. Нельзя узнать имя, не позволено интересоваться происхождением рыцаря. Волшебная тайна не может быть произнесена вслух. Значит, необходимо, чтобы именно Эльза пренебрегла строжайшим запретом возлюбленного.

Пока в непроглядном ночном мраке не находит себе места Ортруда, понимающая, что разгадка тайны – последняя возможность погубить Эльзу, в королевском дворце звонко гремят фанфары. Эта музыка прославляет счастье девушки, которая наконец-то обрела защитника и покровителя. Теперь ей не страшна никакая клевета. На короткое время слабеют мотивы мести, запрета, мелодические напоминания о Граале. Эльза счастлива, но дочери брабантского герцога, сироте, которой неведома судьба брата, невдомёк, что совсем недалеко безжалостная Ортруда замышляет недоброе дело. Беззаботные дни и ночи милой девушки сочтены.

Небо над антверпенским замком светлеет... Фридрих словно просыпается от тягостного неприятного сна. Он встаёт – впереди долгий печальный путь в неизвестность, напоминает Ортруде, что пора отправляться в дорогу. Однако супруга графа не торопится последовать повелению мужа: покинуть страну неотомщённой, позволить торжествовать девчонке, виновнице позора Фридриха – ни при каких обстоятельствах!

Фридрих почти что с ненавистью обрушивается на Ортруду. Граф в отчаянии и яростно упрекает жену, что во всём виновата она. Фридрих безоглядно поверил тому, что она говорила про Эльзу, прилюдно оклеветал невинную девушку, лишился честного имени, остался без всего, чем обладал, и ему остался единственный удел – покорно брести в изгнание. Лучше смерть!

ОБЕД В ГОСТЯХ

Не успел Андрей Георгиевич расположиться за столом, как в комнате в ранге хлебосольного волшебника появился Глеб Сергеевич собственной персоной. На вытянутых руках он нёс темно-вишнёвую кастрюлю не первой молодости и даже не первой старости, из-под крышки которой соблазнительно выбивался аппетитный парок.

Стержиков своевременно вспомнил, что он как-никак сын светила российской психиатрии, почтенного сотоварища Владимира Михайловича Бехтерева. Стараясь незаметно сглотнуть голодную слюну, Андрей Георгиевич начал вежливо-обязательное:

– Откровенно говоря, направляясь к вам...

– К вранью таланта не имея... – весело импровизировал хозяин, поспешно снимая и откладывая в сторону горячую кастрюльную крышку. Когда Глеб Сергеевич, нахмурившись и сосредоточенно священнодействуя серебряным половником, налил в тарелку Стержикова порцию дымящегося варева, продолжение робкого монолога о мифическом плотном завтраке потеряло всякий смысл...

Гость истово работал ложкой, от него не отставал и хозяин. Довольно скоро из уст Полонского последовало вопрошающе-утвердительное: «По второй?» Поскольку второго блюда не предвиделось, Андрей Георгиевич не прочь был бы и «по третьей», но совесть безоговорочно вернула себе права, временно утраченные, пока в животе бушевал чертовский голод, и Стержиков в спокойствии чинном отказался.

Полонский настаивать не стал, как не стал предлагать гостю продолжать общаться с буфетом, сам быстро собрал и унёс обеденную посуду, и поставил на стол синие чашки с золотым ориентальным орнаментом.

– К сожалению, – огорчённо заметил Глеб Сергеевич, – «арабику» и «мокко» пока задерживают поставкой. Зато в неограниченном количестве имеется славный напиток «Кофейный», приготовленный из первосортных желудей с того самого дуба, что по нахальной глупости подрывала тупоумная крыловская хавронья, а также из классического овса, любимого лакомства таёжных аборигенов – бурых медведей. Кофейная рецептура обогащена синеглазым полевым цикорием.

Но к делу... Вы заждались... Томить больше не собираюсь. Хорошо известный вам Яков Соломонович Штейн уломал министерство, и ему разрешили поставить «Гамлета». Поразительно, но, послушайте, как вовремя Иткинд взялся изваять великого барда. Вообще-то, благодарить надо Наталью Ильиничну. Это она решила, что бюст великого драматурга должен украшать тюзовское фойе. Кстати, наш почтенный служитель Мельпомены располагает последним переводом трагедии и даже питает надежду первым перенести вновь созданный текст на сцену. Конечно, для вас не секрет, что переводчик предпринял сию работу по заказу...

Стержиков, в прошлом коренной москвич, не теряющий надежды полноправно возвратиться в родной город, предостерегающе-успокоительно поднял руку. Этим движением гость дал понять хозяину-собеседнику, что продолжать не стоит: о том, для кого именно заново переведён «Гамлет», он отлично осведомлён.

– Значит, знаете... Так вот, голубчик... – и в осторожном голосе Полонского послышались прямо-таки сладчайшие нотки. Такими медоточивыми голосами сирены соблазняли Одиссея и его спутников по опасному путешествию по мифологическому древнегреческому морю. – Мы посовещались со Штейном и пришли к согласному мнению: вы и только вы, дорогой, должны прочитать на театре три-четыре лекции. Не бойтесь этого высокоучёного словечка. Это, как Бог на душу положит, пусть будут простые беседы, свободные, безмундирные разговоры... О Шекспире, о его эпохе, о елизаветинском театре, о старой доброй Англии, наконец, о самой трагедии и о знаменитейшем на все времена датском принце.

– Как говорится, сердечно благодарствую вам, – стараясь не обидеть хозяина, потому и подпуская в полуподвальную беседу толику купечески-замоскворецкой интонации, оттягивал неприятную концовку Стержиков, – однако же, позвольте выразиться с последней прямоотой: что я – Шекспиру, что мне – Шекспир. То

что в университетские годы среди всего прочего занимался переводами сонетов (в домаршakovскую эпоху)... Вашего покорного слугу ныне одолевают иные заботы, иные соблазнительные мерещатся картины...

– Да бросьте вы! – по приятельски-бесцеремонно, с наигранным гневом вскричал Глеб Сергеевич. – Такое приглашение – какой-никакой, но всё-таки надёжный кусок хлеба, которому не стоит, вопреки Пастернаку, «объявлять вражду». К тому же ваше почти нелегальное положение с его полной бесправностью отчасти прекратится. Это – одно. Неделя-другая усердного чтения, и вы – знаток, перед осведомлённостью которого и редким пониманием Шекспира снимет шляпу сам Михаил Морозов, об Иване Аксёнове и упоминать не стоит. Кстати, как раз к делу, возьмите вот эту книгу. Именно аксёновская монография об английском театре шестнадцатого века. Иткинд вчера возвратил. Он в неё, можете не сомневаться, и не заглядывал, конечно, хотя занят прилежным исполнением штейновского заказа; все мы вскоре познакомимся с Шекспиром в скульптурной версии Исаака Яковлевича. Мне весьма симпатична младенчески-святая вера Иткинда, что он способен выволить из небытия подлинный облик автора «Гамлета». Великая русская спиритическая герцогиня Блаватская Елена Сергеевна взялась бы вызвать Шекспира в качестве собеседника. Но мы подобные мистические эксперименты со столоверчением оставим людям более отважным, бесшабашным, безбашенным... А с книгой попрошу обращаться бережно – она с автографом. Взгляните...

– И всё-таки, – продолжал нерешительно отнекиваться Стержиков, украдкой поглядывая на циферблат в корабельном спасательном круге («Как бы не получить нагоняй от окраинной милашки, курносой Галины...»), – актёры, даром, что провинциальные, – племя свирепое, злоокаянное, останутся от лектора-новобранца, самонадеянного храбреца, одни пёрышки...

– Поступило предложение прекратить прения, да и обмен лишними любезностями ни к чему, умоляю вас, – устало подвёл итоги не слишком серьёзного торга Глеб Сергеевич. – Вы меня чрезвычайно утомили. Не сопротивляйтесь – бесполезно. Я безвозмездно борщом не кормлю, да и благословенный напиток «Кофейный» проходит по графе «Долг платежом красен». Признаюсь честно, я и сам бы не отказался всласть потолковать о Шекспире и о принце-мстителе из туманно-стылого Эльсинора. Ага, поёживаетесь. Да, тёплыми те северные края не назовёшь. Знакомство с ними лучше отложить на неопределённый срок. Но... – Полонский на мгновение прервал монолог. – Ладно, откровенность так откровенность. Только не надо никому говорить. Не обмолвитесь ненароком, хорошо? Сейчас привожу в порядок собственные разрозненные заметки военного времени. Как стало понятно, музы не теряют голоса и в пушечные годы.

Полонский обернулся, и Стержиков заметил на стене, на этот раз по другую сторону раритетного буфета, контурный рисунок угольным карандашом: грозный царственный профиль, отрешённо-карающе смотрел неумолимо-безжалостный глаз, узкая клиновидная борода резко вздёрнута над хищно выпирающим кадыком тощей старческой шеи... «Пророк и палач, – промелькнуло в сознании Стержикова. – Неужели к такому... на домашней стене... можно привыкнуть...»

Время от времени он степенно кивал, чтобы дать понять Полонскому, что слышит его поясняющие слова:

– Рисунок, как вы догадались, самого... Оставил на память. Давние записи – именно шекспировские размышления Сергея Михайловича. Когда до последнего листка разберут архив Мейерхольда, счастливо сохранившийся в подмосковном дровяном сарае (смертельно и бесстрашно рисковал великий Эйзен), немало прибавится в русском понимании Гамлета.

Полонский замолк, словно погрузился как раз в шекспировские размышления.

– Но всему своё время, милейший Андрей Георгиевич. Тем не менее, и откладывать опасаясь: все под Богом ходим – «нынче здесь, а завтра там». Мы-то с вами кое-что про «там» знаем. Пусть лежит приготовленная рукопись. Настанет день, и «собирайтесь, други»... Как это у Пушкина? «Список верный» и так далее...

Полонский приготовился ещё что-то прибавить к сказанному, может быть, дополнительно припомнить пушкинские строки, но кратковременная тишина оборвалась: пугающе бесцеремонно, как бы в некоем казённом учреждении, прогремел телефонный звонок. Внезапно, в глубинах всё того же мебельного шедевра обнаружился чёрный аппарат, как ни странно, незамеченный гостем, пока не прозвучал оглушительно-требовательный сигнал. Пластмасса телефона, очевидно, перекочевавшего сюда из неведомого казённого кабинета, сильно потёрлась. Было понятно, что данный предмет – такой же неутомимый работник, как и его разговорчивый хозяин.

Полонский столь быстро схватил трубку, словно она сама сказочной щукой прыгнула Иванушке в ладонь.

– Доброго здоровья, дорогой Яков Соломонович! Вообще-то телефонный звонок – слабая вам замена. У меня за чашкой кофе знакомый вам Андрей Георгиевич Стержиков. Великий специалист в области шекспирознания и шекспиропонимания. Почему не «величайший»? Да потому, что неосторожно применённый мною эпитет и без того вогнал в краску моего дорогого гостя – шекспироведа-скромнягу. Нет, нет, Яков Соломонович, тороплюсь, и буду торопиться и дальше. Ну, вы же знаете, творческие люди, к таковым самонадеянно причисляю и вашего покорного слугу, чем-чем, а терпением и выдержкой похвалиться не могут. Да, конечно, драгоценный номер «Молодой гвардии» с пастернаковским переводом приготовлен, возвращаю с почтительной благодарностью, Андрей Георгиевич захватит его с собой... Что, вы не всё принимаете в нём? И что из того? Совершенно естественно, страшного ровным счётом нет ничего. Теперь послушайте совет старого театрального волка, ветерана русской провинциальной сцены. Примите с чистой душой прекрасного переводчика в ранге истинного автора вечной трагедии. Английский текст – кто спорит! – само совершенство. Однако то, что у вас нет соперников в бесспорно уникальном знании подлинника, сверхсерьёзное препятствие в понимании интеллектуально блистательного пастернаковского, нет, не перевода – творения. Брови поднимать не надо: поживёте с нынешним «Гамлетом», не сомневаюсь, разделите мою веру. Да-да, конечно, назначайте время – я готов встретиться всегда и везде.

Насторожившийся от стремительно-воинственного (по раскованно-залихватской воле Полонского) превращения в новоявленного «великого специалиста по Шекспиру» Стержиков лишь ироническим мычанием смиренно отозвался на завершение режиссёрского монолога.

А Полонский, расставшись с невидимым собеседником, медленно опустил телефонную трубку на металлически звякнувший рычаг и возвратился за обеденный стол.

– Да, да, здесь, в нашем уютном и безопасном уединении, не думаю, что стоит скрывать... Яков Соломонович неспроста выбрал знаменитейшую пьесу, нет, неспроста... И не заглавного героя ради, честное слово. Что ему Гамлет, что он Гамлету? Клавдий, Клавдий – вот кто в зените штейновских размышлений. Вот вы бы послушали – совершенно неожиданная трактовка, весьма острая. Пожалуй, впервые правда короля – ответственного властителя страны – выше правды принца – праведного мстителя-одиночки. О, вы меня так расположили, что невоздержанно, без спроса, пересказываю вам Штейна. Он сам обожает рассказывать

о преступном короле Клавдии: ведь это его собственное открытие, это золото он нашёл лично. Даром, что он немало времени проводит в долгих беседах с людьми осведомлёнными и словоохотливыми, приближёнными к особе великого драматурга и театральной жизни.

Полонский остановился, подумав, что насмерть заговорил гостя. Стержиков посчитал излишним прерывать спокойствие наступившего молчания.

– Так что пока секрет, военная тайна. Ни о какой пьесе мы не говорили, ни о каком-таком Клавдии вы и слыхом не слыхивали. Договорились? Ещё по чашечке не желаете? Торопитесь? Хорошо. А морозовский подстрочник – в пути... На восток... Поделюсь, поделюсь всенепременно. Пообщались с пользой, не правда ли? Полагаю, не пожалеете.

Малая часовая стрелка оставила позади цифру «пять» и двинулась дальше. Гость пожал сухую и тёплую руку хозяина и переступил порог. Андрея Георгиевича настиг прощальный взглас вдогонку:

– Стойте, как это я забыл, нарочно для вас приготовил. Возьмите. Это билеты на концерт Вертинского.

ВАГНЕР – КАМЕРТОН САМОЙ ЖИЗНИ

По дороге домой композитор Вагнер отвлекал Андрея Георгиевича от природы, городских звуков, резких звонков трамвая или нечастых сигналов клаксона трофейного пикапа, добравшегося до Яблоневого града из поверженной Германии.

Стержиков сел на первую попавшуюся скамейку. Как он мог пропустить действие, вернее, действие, столь внимательно опекавшее его. Без Вагнера он бы сошёл с ума, но такая мысль пришла ему много позже, а теперь он предался воспоминаниям и вдохновению, как будто это не Вагнер, а сам он творил текст оперного либретто. Когда через много лет он сам себя спрашивал: «На каком языке он всё это слушал?» – он ответить не мог. И только потому, что нашёл в своей записной книжке русский рифмованный перевод арий и хоров из «Лоэнгрина», догадался, что переводил со слуха. Так талантливый музыкант с листа играет впервые увиденную партитуру. Но ведь тогда в лагере он слушал оперу в оригинале, это точно. Когда он сделал эти переводы, не мог вспомнить.

* * *

Ортруду не проймёшь даже самыми яростными проклятиями. Она не обращает внимания, что Фридрих напоминает жене о её клятвопреступлении. Ортруда убеждала, что смерть мальчика Готфрида – братоубийство. Вот за этот намеренный обман Бог карает и её, и Фридриха. Но Ортруда издевается над легковёрным мужем, человеком богобоязненным и слабой души: она-то сама никакой ответственности перед Господом не признаёт, никакого наказания не боится.

Диалог Ортруды и Фридриха.

Фридрих:

Меня погубил твой преступный призор,
И мне непосилен великий позор.

Ортруда:

Поверь мне ещё раз, увидишь, что Бог
Бессильнее нас – он не знает дорог,

Которыми надо идти напролом,
 Быть оборотнем, сатаной, колдуном.

Фридрих:

Твоё святотатство нам карой грозит,
 И душу мою твоё слово разит.
 Бессмертную душу тебе заложил,
 И стынет от ужаса кровь моих жил.

Ортруда:

Но я, как всегда, ничего не таю,
 Ведь тот человек, победивший в бою,
 Неведомо кто, его имя секрет,
 А тайны могущества, может быть, нет.

Как имя узнаем, все узы порвём,
 Останемся властвовать в графстве вдвоём.
 Ты слышишь мотив его – песенный дар,
 Но не отвратит он железный удар.
 Божественный лебедь – жилец водных троп –
 Был мной заколдован – вернейший холоп.

Фридрих:

И я заколдован? Но есть же запрет –
 Бог видит все козни на тысячу лет.
 А ты паутиной меня оплела.
 Реванша хочу! Если б ты помогла
 Вернуть мою честь, я с тобой заодно
 Пошёл хоть на небо, хоть в омут на дно.

Тайна могущества неизвестного рыцаря заключена в том, что таинственно его происхождение, неведомо также, как к нему обращаться, как его называть. Лишь только он откроет людям своё имя, его волшебной власти придёт конец.

Вновь в оркестре – мотив запрета, но если преодолеть, разорвать его узы, то перед нами – обыкновенный смертный.

ДВА БИЛЕТА НА КОНЦЕРТ ВЕРТИНСКОГО

Стержиков рассматривал подарок Полонского.

Билет на концерт Вертинского был на два лица, но прийти вместе с юной Шурочкой в филармонию Андрей Георгиевич не мог. Они договорились не афишировать своего близкого знакомства. Сидеть одному на двух стульях... Нет, нет – совершенно невозможно. Это противостоит природе. Стержиков отправился на квартиру с твёрдым намерением пригласить на концерт хозяйку своего пристанища. Во-первых, пожилая женщина на шестом десятке не вызовет лишних подозрений, во-вторых, Анна Никитишна старалась по мере возможности посещать культурные мероприятия. Театрально-концертные события интересовали тётю Нюру не столько для повышения собственного культурного уровня, сколько для чувства принадлежности к избранному обществу. Она была одинокой: в первый год войны её муж, офицер в должности замполита, был убит под Калинином, детей ей Бог

не дал. Соседки вообще закоснели в нескончаемых садово-огородных и семейных заботах, но с удовольствием слушали тётушку Ньюру – лектора на самостоятельный простонародный манер.

Александр Вертинский... Это был воздух его молодости – Стержиков помнил легенду о дореволюционном Пьеро, знал песенки эмигранта, а стихи Вертинского, дошедшие и без пения, были заразительны – хотелось писать и писать. Душу кололо чувство предательства по отношению к «Столбцам». Но более всего раздражала секретность тайной привязанности к неугодным в те годы образцам, а также осознанная безразличность к публичности, где проболтаться роковым образом не составляло труда. Да к тому же загреть в ещё более далёкую ссылку чем в Яблоневый град. Между тем, следы эвакуированных во время войны знаменитостей встречались на каждом шагу, и Стержиков знал, что 40-е годы каким-то образом, неизвестно как, также будут помянуты тем, что он тут жил. Вспомнят и то, что его арестом и ссылкой «вычистили» из войны. Он не попал на фронт, но мечтал о нём, как об освобождении.

Какие пафосные слова лезут в голову, даже когда раздумываешь о простом, о своём личном! Вот проклятье несвободы! Да, если бы только она одна!

ДУМЫ О ШУРОЧКЕ

День за днём Андрей Георгиевич всё более часто задумывался о Шурочке, о том, что её судьба все прочнее срастается с его судьбой. Ему казалось, что над нею посмеиваются. Действительно, невольные свидетели или любопытствующие знакомые получили достаточный повод для насмешек. Поверить в то, что можно полюбить бывшего заключённого, человека затрапезного облика, бездомного обормотанца и привязаться к нему, простым людям было не под силу.

Впрочем, сам Стержиков никак не мог понять юной Шурочкиной души, психологии житейски совершенно неопытного существа. Однако Андрей Георгиевич чувствовал необходимость пристально разобраться в том, что оставалось непонятным и не имело привязки к бедной реальности. Как обыкновенный арестант, он подозревал девушку, что она втайне от него сообщает заинтересованным лицам о встречах с ним и пересказывает содержание дружеских разговоров.

К счастью, неприятные подозрения, когда не можешь смотреть собеседнику прямо в глаза, продолжались недолго.

Но поскольку Шурочка была генеральской дочерью, она и Стержиков решили соблюдать строгую конспирацию. Тем не менее, пусть от подозрений и сомнений следа не осталось, недоверие исчезло, как дым, Андрей Георгиевич никак не мог привести свои растрёпанные чувства в равновесие.

Но очень кстати явился соседский пример.

У подножья Веригиной горы проживал Вячеслав Шайдуров, фанатик орехового сада. Никто не знал, какие неисповедимые пути привели Шайдурова в Семирежье. Порой Стержиков накоротке забредал в садовую шайдуровскую лачужку на «огонёк».

Садовник принимал гостя-ссылнопоселенца не один, а вместе с женой. Пока она хлопотала по хозяйству, Шайдуров рассказывал, как именно привалило ему такое семейное счастье.

Набирал популярность лозунг о «стакане воды». Потом родилась ещё одна концепция: «Спасайте падших!» Однако распространённый призыв не пересилил в массовом сознании теорию «стакана воды»: развратничать и разлагаться легче, чем богоугодно спасать. Молодого Шайдурова «стакан воды» не соблаз-

нил, наивный студент выбрал дорогу спасения падших. («Он вашу сестру, как вакханку с амфор, поднимет с земли и использует». Навязалась-таки строчка из Пастернака).

Совершить такой поступок Шайдурову помог также роман Толстого «Воскресение». Катержанка Катюша Маслова, хоть и простила соблазнившего её Нехлюдова («Наши счёты Бог сведёт»), всё-таки решила соединить свою судьбу после каторги с «политическим», который без пафоса и похвалы себе за богоугодный поступок просто полюбил Катюшу Маслову.

А в отношениях Стержикова и Шурочки действовала «концепция спасения». Поменялись только полюса мужской и женской ипостаси: Шурочка спасала «падшего», зато «падший» Андрей Георгиевич её использовал.

За годы изгойства он разучился любить. Кроме того, Стержиков никогда, ни при каких обстоятельствах не чувствовал себя «падшим». Имелось ещё одно обстоятельство – главное. Стержикова очень настораживала кротость пожилой женщины, супруги Шайдурова. Не верил Андрей Георгиевич в искренность подобной кротости. Тем более, что в себе он не подозревал такой способности – обрести кротость вплоть до полного самоуничтожения.

Как верующий человек, он одёргивал себя: «Стыдно... не подобает столь расчётливо и хладнокровно анализировать то, что происходит. Дьявол в деталях, сейчас надо жить легко, непредвзято».

Так Андрей Георгиевич и жил с Шурочкой, догадываясь, что в его будущей жизни нынешней избавительнице места не найдётся. Зато сейчас она являлась единственной щепкой, державшей его на плаву. А скоропортящаяся благодарность за благодеяние Шурочки вовсе не предполагала ответно-обменной жертвы со стороны Стержикова.

«Вот как, – признавался самому себе Андрей Георгиевич, – в действительности, я – человек глубоко безнравственный, хуже Онегина, хотя, казалось бы, куда ещё хуже...»

И начинались размышления и рассуждения, как бы получше выдать Шурочку замуж, понадежнее устроить её будущее... Стержикова всё-таки раздражало, что ни к кому он Шурочку не ревнует. И путало карты постоянное ожидание, что с ним внезапно рассчитаются родители Александры, университетские преподаватели, наконец, мифический муж...

И только иногда сознание Андрея Георгиевича остро пронзало предвидение неизбежного расчёта с Богом... Окончательного расчёта... когда-нибудь... с Богом...

Андрей Георгиевич запретил себе вспоминать первую любовь. Университетские годы – это времена, заполненные мыслями о законном браке. Никакого законного брака не получилось, да и не могло получиться. Во-первых, по молодости лет, а во-вторых, бесприютному человеку прежде брака хорошо бы обрести крышу над головой.

Стержиков к тому времени, хоть и не по своей воле, давно скитался по провинциальным городам и весям великой России, стараясь не очень отдаляться от Москвы. Советская столица являлась хитроумным прибежищем никому не нужного гражданина, к несчастью, заметно прославившегося среди «психиатров». Речь идёт о совершенно особом сообществе внутри огромной страны душевно изуродованных людей.

Они не носили смиренных рубашек, ничто не мешало им преследовать подозрительных «заговорщиков», имевших сверхценное намерение – излечить всю страну. Отец Стержикова – настоящий, высококвалифицированный психиатр

– всегда оставался для Андрея Георгиевича образцом человека и врача. А сравнение отца с нынешними псевдопсихиатрами неизменно выходило не в пользу исправителей такого рода.

Приходилось Стержикову слышать от отца подобное определение власти, потерявшей здравый рассудок. Выдающийся русский психиатр Бехтерев почти такие же слова написал в личном послании Стержикову-старшему. Главная цель защитников разумного подхода к жизни – выпасть из поля зрения подозрительных и подозревающих всех и каждого в неблагонадёжности.

Это противостояние непримиримых лагерей. Следовательно, никакого диспута быть не может.

Андрей Георгиевич давал себе слово ни при каких обстоятельствах не расставаться с Москвой. Сдержанье данное слово Стержикову не удалось по независящим от него обстоятельствам.

Ещё находясь в камере на Лубянке, когда шло следствие, ему на помощь пришло филологическое мировоззрение. Рассуждал Андрей Георгиевич так: поскольку сейчас что ни действие – всё в страдательном залоге, эти события ставят предел его поступкам в действительном залоге. Понятно, что «жениться» – означает «оженён», «обратан», «схвачен», «обтёсан», «полюблен» и так далее.

Нет, такое не для него, изначально свободного человека. А добровольно, по собственному желанию «путешествовать» по тюрьмам и лагерям вместе с женой и детьми – это совершенно не светлая перспектива. Когда Стержиков горестно расставался с первой любовью, он понимал, что расстанется навсегда, что это – вечная разлука. Однако Андрей Георгиевич также расставался с самим понятием «любовь». Эта категория оставалась пригодной только для литературы, искусства и философии.

А в жизни Стержиков встречался с женщинами, и встречи носили не только платонический характер. Тем не менее, без первой любви душа съежилась, скукожилась и заскорузла. Когда Андрей Георгиевич рассказывал студентам о биографии и творчестве Шекспира, он страстно желал, чтобы и в его жизни было что-либо похожее. Одновременно мечтал пусть о самом малом доверии к людям, потому что с недавнего времени все знакомые и незнакомые женщины попали у него под подозрение. Он не мог избавиться от уверенности, что они – или добровольные, или завербованные доносчики.

БЛАГОРОДНЫЕ СОМНЕВАЮТСЯ – ЗЛОДЕИ ВСЕГДА ЗАОДНО

Фридрих поневоле внимает гибельно оплетающим, зловеще-паутинным словам Ортруды. Так значит, не высшие силы, не божественная защита обеспечили загадочному рыцарю победу, но земное колдовство. Этому можно противостоять: необходимо отстаивать правду, восстановить репутацию храброго воина и достоинство честного рыцаря. Коварный план Ортруды, к которому теперь по злой воле супруги, оставив сомнения и колебания, присоединяется Фридрих, прост, как предательский удар исподтишка смертоносным клинком.

Итак, решено: она отправляется к Эльзе, рассчитывая, что наивная девушка поможет раскрыть двойную тайну Рыцаря белого лебедя. Не останется в стороне и мужественный солдат Фридрих: он нападёт на рыцаря, и достаточно малейшей раны, пролитой капли крови, чтобы власть волшебства кончилась. Сама ворожея, Ортруда знает, как прекратить силу колдовской поддержки.

Фридрих и Ортруда вновь заодно. Они снова преступные союзники в неотребимой жажде мести:

Клятва Фридриха и Ортруды:

Клянусь я мстить, и эта клятва
Ужасный мрак души таит,
Кровавая свершится жатва.
Раскаянье нам не грозит.

Мрачно-тревожная музыка стихает, на балкон герцогского замка выходит Эльза в праздничном белоснежном одеянии. Она безмерно счастлива и обращается к тихоструйному ветру. Раньше Эльза жаловалась невидимому эфирному собеседнику на горестную судьбу сироты и сестры безвестно пропавшего брата и проливала слёзы неутолимой печали. Теперь она спешит поделиться любовной радостью.

Эльза говорит с ветром:

О, тихоструйный ветер, эфирный собеседник,
Ты помнишь мои песни – о жалости мольбы?
Мой рыцарь заступился, исчезли зло и бредни,
Что я убила брата как враг своей судьбы.

Но ты, мой тихий, знаешь, что я не убивала.
Теперь весь мир узнает – пред Богом я чиста.
Такой счастливой в жизни ещё я не бывала –
Залог любви навеки напечатлён в уста.

Девушка не догадывается, что неподалёку её смертельные ненавистники. Ортруда обещает Фридриху:

Я вытвержу средства магических книг,
Как с нею покончить, и Генрих-старик,
И рыцарь блестящий, и лебедь летящий
Её позабудут навеки в тот миг.

Она разговоры свои проклянёт
И все договоры сама разорвёт,
И, вместо любви, в её хладной крови
Останется пепел, останется лёд.

КАРТИНА ЕВГЕНЬЕВА НЕ ДАЁТ ПОКОЯ

Стержиков – хотел найти оригинал «Корабля королей», попавшего в Яблоневоград с эвакуированным художником из Ленинграда. Для каких целей, он ещё не знал сам, и не было в его желании ничего корыстного или эгоистического – была мистическая вера: надо целеустремлённо закончить одно дело, и это будет подвиг его жизни. Особенно, после посещения Полонского с копией «Корабля», якобы написанной по памяти.

Сам Евгений, вручая бережно свёрнутый в трубку холст, завещал, во что бы то ни стало сберечь дорогое сердцу произведение. Беспокойство мастера было понятно: на Ленинград ежедневно падали бомбы, город обстреливали из дальноточных орудий.

Говоров вскоре покинул в киностудийном эшелоне осаждённый город. Долгие годы работал на студии «Казахфильм».

Стержиков историю о завещанной картине не знал.

Говоров вёл очень замкнутый образ жизни. В Ленинград, где дом его со всей коллекцией был разгромлен, он не вернулся. Общался с редкими людьми. С живописцем Кирилловым, с Полонским. Через много лет на пороге мастерской живописца Кириллова появился известный художник кино Василий Говоров, работавший в войну на съёмках «Ивана Грозного».

– Матвей Алексеевич, тут такое дело. Я никому не говорил. У меня давно пошаливало сердце: дела инфарктные невесёлые... Пока шла война, в Ленинграде Антон Евгеньев – он не смог эвакуироваться – передал мне картину «Корабль королей». Сам он её не выставлял. Мне отдавал «в честные руки» в надежде на лучшие времена. Они, конечно, настали, лёд тронулся, наметились определённые подвижки... Однако должен произойти безвозвратный перелом в общественном сознании, чтобы никакие наветы и наговоры не коснулись этого, как бы несоветского полотна. Но вот такая штука... Признаться откровенно, пришёл мой черёд дышать на ладан: два инфаркта преодолел, третий, как предупреждают врачи, и прихлопнуть может. Безвременно, скоропостижно... Одним словом, сейчас, когда свободно можно выехать в Германию, в Израиль, ещё на какую-нибудь историческую родину, повсюду хватает охотников пожить русским культурным наследием... А ведь «Корабль королей» цены не имеет... Высокая музейная вещь... А таможенники, и не только они, многие – тоже люди... Говорю прямо, без долгих речей, оставляю драгоценную картину вам – больше никому довериться не могу.

– Василий Васильевич, разумеется, и в музее не всегда всё в целостности и сохранности...

– Подождите, ещё скажу. «Корабль королей» – это картина для каждого, прорыв в неизведанное. Она – исповедник. Кто всматривается всерьёз, с честной верой, непременно узнает о себе то, что раньше не знал. И, может быть, ужаснётся страшной действительности нашего смутного времени...

– Моя мастерская, – ответил Кириллов, понимая, что огорчает пришедшего к нему Говорова, – защита слабая, а квартира в старом доме ещё меньше. Здесь хоть вахтёр на страже... Но, Бог с ними, с сомнениями, пусть вас утешает надежда, что мои руки – честные. Поверьте, я – не мальчик, и как велика ответственность, хорошо осознаю. Пока буду раздумывать, как лучше сохранить «Корабль королей». Оставляйте. Вам – меньше забот, меньше тревог... Надеюсь, есть на свете надёжные люди.

...И такой надёжный человек нашёлся. Почему Кириллов избрал его, может быть, потому, что он был бездетным, дети многих художников просто лицо потеряли, став наследниками. Сколько посмертного позора предкам! В таком деле любой третий будет лишним. Никто не знает, как поведёт себя человек в экстремальной ситуации.

Кириллов прямо попросил Стержикова взять на себя заботы по сохранению картины.

– Пусть пока «Корабль» остаётся на месте, – отозвался на просьбу Кириллова Андрей Георгиевич. Теперь вернулись тридцатые годы. Всех ранее осуждённых вновь забирают. Многие мои знакомые, отбывшие срок от звонка до звонка, вообще канули в неизвестном направлении. Я практически все эти годы оставался под надзором. Так что передачу картины придётся отложить. Возьмите также в расчёт, что я старше вас и не имею места жительства, а добиваться его необходимо в Москве. Я – москвич, и должен вернуться к себе на родину.

Это, впрочем, не решительный отказ, а объяснение временной невозможности. Но если вся моя жизнь до сих пор отдана поискам незаурядной картины,

я продолжаю ей служить. Хорошо, что она так «запрятана» в нагромождении полотен в вашей мастерской, что не каждому придёт в голову, что здесь таится сокровище.

– Знаете, мне явилась одна мысль... И почему бы не попробовать... – сказал Кириллов. – Поверх масляной живописи Евгеньева надо написать – также маслом... Не просвечивает – и ладно... Напишу... хоть ваш портрет. Работа моя пропадёт, однако, искусство – всегда дело жертвенное. Зато потом... Вы только представьте себе: «Явление «Корабля королей» народу...» Вот отреставрировать в Москве – это уже ваш удел. Надеюсь, что операция по воскрешению шедевра пройдёт без сучка, без задоринки.

– Здесь тоже не без помощи судьбы, – не скрывая радости, заметил Стержиков. – По молодости лет, приходилось мне рисовать московские архитектурные памятники. Тогда-то и свёл знакомство с одним реставратором церковной живописи, а у него такие ученики... Следовательно, по возвращении в Москву – прямой дорогой в Андроников монастырь...

– Из рук картину выпускать нельзя... И лишний глаз ни к чему...

– Да, да... От реставратора не отойду.

– Вы же не завтра отправляетесь в Первопрестольную... Пока есть время, может, попробуете приглядеться, как происходит процесс отмывки, очистки полотна. Здесь искусности поменьше, зато терпения побольше. Необходимые средства приготовлю. Одним словом, почаще приходите...позировать. Сейчас начну писать ваш портрет.

– Буду приходить, пока ещё есть свободное время, – со вздохом промолвил Стержиков.

– Что так обречённо? Часок-другой, авось, найдётся: я-то – ваш помощник, а главный хранитель – вы, Андрей Георгиевич.

– «Обречённо», говорите... Наблюдательны... Есть, есть предчувствия. И, как правило, сбываются в точности.

Обременённый тайной, Стержиков отправился в плодово-ягодное Заречье. Он думал: «Я, кажется, дал клятву, но не свыше ли это моих сил? О, Господи, Боже мой, дай мне силы следовать данному обещанию!»

Что же в происходящем такого знакомого и рокового? Мистика какая-то. Опять Вагнер. На все случаи жизни – Вагнер. Значит, я предупреждён, значит, надо быть достойным своей клятвы.

Этот возвышенный настрой вызвал бурю звуков, мощный вихрь лейтмотивов и, наконец, выстроился.

РАСПЛАТА ЗА НАРУШЕНИЕ КЛЯТВЫ

Происходящее не нравится сподвижникам Фридриха. Их недовольные голоса, скорее всего, ничего не изменят, потому что, кто же дерзнёт предпринять что-либо против «защитника Брабанта»?

Но кто это? Фридрих Тельрамунд осмелился нарушить закон и обвиняет в обмане «защитника Брабанта». Нарушителя закона ждёт суровое наказание, вплоть до смертной казни. Соратники графа прячут мрачного хабреца.

Тем временем начинается свадебное шествие. Какая торжественность, как изысканно красивы прелестные одежды женской свиты Эльзы. Но вот и она сама... Все тревоги мира отступили и более не владеют над мирными людьми. А в музыке – царственный хорал без единой мрачной нотки. Он переходит в свадебный марш. Музыку его композитор доверил гобою, а дальше – кларнету. Потом в мощном, возрастающем пении хора слышны приветственные слова, обращён-

ные к виновнице торжества. Это хоровое пение вместе с оркестром, играющим на пределе, уверенно и широко заполняет всё пространство вблизи дворца.

Шествие неожиданно останавливается.

Все взоры устремлены на паперть: церемониал непривычно-резко нарушен – перед Эльзой встаёт Ортруда. Она объявляет, что уважение к Эльзе несправедливо, невеста таинственного рыцаря – самозванка. Обвинительница не обращает никакого внимания на возмущение оскорблённой девушки, на протестующие возгласы народа и говорит, что суд оказался нечестным: знаменитого рыцаря Фридриха Тельрамунда, славного воина без страха и упрёка, поверг на землю безымянный пришелец неизвестного происхождения:

– Чем род его был славен и силён?

Здесь самозванец страстью распалён.

И Ортруда безжалостно направляет отравленную стрелу в любимицу брабантской земли:

– Что можешь людям ты сказать?

Твой рыцарь повелел тебе молчать.

Справившись со слезами обиды, Эльза бросается на защиту любимого человека. Как милы, как свято наивны её трогательные заверения о чистой и прекрасной душе избранника. Как хороша спокойно-ласковая музыка, она – словно проплывающие в безоглядно высоком голубом небе белейшие облака. Ортруда не смиряется:

– Боишься жениха? Когда он будет муж,

Тебя опутает секретами и тайной,

Умрёшь в тоске и ревности отчаянной...

Спроси, как звать, и тем обезоружь

Его в намереньях обманывать молчаньем,

Иначе век твой кончится печально.

Из крошечного зёрнышка ядовитого сорняка безжалостная интриганка Ортруда неотступно растит гибельную отраву. Эльза наедине с графиней Тельрамунд, конечно, справилась бы с подброшенной порцией яда. Но Ортруда – противник закалённый, неспроста она сеет семена сомнения прилюдно.

На несколько мгновений злую женщину останавливают королевские фанфары, они предвещают приход короля, чуть позже появляется Лознгрин. Оба очень недовольны прерванной свадебной церемонией. Лознгрин замечает знакомого врага – Ортруду. Яростному возмущению рыцаря нет предела. К нему спешит Эльза. Она, как ребёнок, который ищет защиты и покровительства у Лознгрин. И не обманывается. Приветливость рыцаря успокаивает девушку.

Король повелевает восстановить прерванный порядок свадебного шествия. Однако к злокозненно действующей Ортруде нагло присоединяется Фридрих. Церемония вновь скандално остановлена. Граф не обращает внимания ни на суровые предостережения короля, ни на возмущённые выкрики рыцарей и горожан. И уверенные речи Тельрамунда завоёвывают всё больше и больше сторонников. Этот неведомо откуда прибывший рыцарь – обманщик. Пусть сейчас же, перед всеми признается, как его имя, откуда он прибыл.

Лознгрин не соглашается, сохранение тайны имени жизненно важно:

– Для вашего спасенья, верьте мне,

Стою с мечом от Бога на земле,

Но кровь Распятого горит в огне
По вашей легкомысленной вине.

Однако сильны змеиные речи Ортруды. Вера Эльзы поколеблена сомнениями. Девушка беззащитна перед лютым натиском обвинительных утверждений, тем более, что ядовитые испарения окутывают народ. В настроении невесты рыцаря всё меньше просветлённости. Это чувствительно огорчает Лоэнгрин.

А в оркестре наступательный лейтмотив Ортруды перекрывает жёсткий, неуступчивый мотив запрета.

Генрих Птицелов и его соратники стремятся поддержать рыцаря, убеждают, что уверены в его благородстве, готовы всегда быть с ним в дружбе. Тем временем Фридрих наперебой с женой плетёт коварства сети, нащёптывает Эльзе:

– Ты мне позволь отсечь ему
Хоть кончик пальца. Почему
Не веришь мне? В нём крови нет.
А вот и правильный ответ:
Твой опекун – ведун-колдун.

Это сатанинское кружение вокруг жертвы не осталось незамеченным Лоэнгрином. Он понимает, что добром эту злодейскую чету не возьмёшь, и переходит к прямым угрозам:

– Ещё увижу раз советчиков невесте,
Убью на месте!

Органная музыка сопровождает вновь тронувшееся свадебное шествие. При звуках хорального мотива Эльза и Лоэнгрин поднимаются на верхнюю ступеньку парадной лестницы собора. Счастливая девушка радостно смотрит на праздничные лица, отвечает на приветственные жесты и возгласы. Однако мелодия Ортруды вплетается в торжественный хорал.

Но Эльза убеждает себя, что небольшое нарушение запрета простительно.

– Скажи мне только слово, о, мой друг,
Скажи мне имя, для меня чужое.

Лоэнгрин почувствовал роковое прикосновение беды. Как же помочь Эльзе не прикасаться к запретной теме? Рыцарь обнимает невесту и призывает насладиться ароматами ночного сада, огромным звёздным небом – всё это символы всепобеждающей любви. И не нужно поддаваться никаким сомнениям.

Лоэнгрин призывает Эльзу не совершать клятвопреступления и заявляет, что однажды прозвучавший запрет отменить невозможно. Его слова – не объяснение, а приговор.

НОВЫЙ АРЕСТ

Как в воду смотрел Стержиков...

Арестовали Андрея Георгиевича в 1948 году. Обвинения не предъявляли, просто в приговоре написали «Распространение антисоветских измышлений», а это – 51-я статья Уголовного кодекса. В Хабаровлаге он проходил по 58-ой – просто «не пришей кобыле хвост», но ему «пришили». У 58-ой было столько степеней, дело доходило до 58-ой в 28-ой степени, и Стержиков ничего не понимал в обвинительной механике, как никогда не понимал премудрости высшей математики.

Началось новое хождение по мукам. Отправили в Карлаг и через год перевели подальше, в Омский лагерь. Попал-таки в места каторжника Достоевского. Сам себе накаркал такую судьбу, но, признаться честно, немного гордился, что у него одинаковая судьба с великим писателем. Всем ли писателям суждена подобная жизнь.

«А ты что думал, писатель? Что там вычитали криминального в твоих романах? Да и где они, эти романы? Не видать тебе их, словно собственных ушей».

Стержиков, как и велел врач, не расставался с фиксирующим корсетом. Поэтому выздоравливающего отправляли на лёгкие работы, поручали топить печки в лазарете, мыть пол в комендатуре, выдавать книги заключённым, разбирать посылки после цензурной проверки и передавать адресатам. Ему никто не писал и не отправлял посылки.

Андрей Георгиевич подал прошение на разрешение писать книгу. Отказали категорически. После того, как он восемь лет от звонка до звонка отсидел в Омском исправительно-трудовом лагере, он вышел на волю поседевшим, худым, измождённым человеком.

Когда Стержиков взглянул на выданный «волчий билет», то не сразу разобрался, что за бумагу ему вручили. Этот документ реабилитировал его сразу по двум арестам и поселениям. Здесь же указывалось, куда обратиться, чтобы восстановить по метрической записи право на прежнее место жительства. Ему выдали деньги, которые начислялись последние восемь лет, с указанием, сколько удержано подоходного налога, а также за питание, проживание, за медицинское обслуживание. Это не так-то просто было осмыслить.

Когда Андрей Георгиевич в вагоне второго класса ехал в Москву, почти без вещей, заколов булавкой единственный целый внутренний карман с деньгами, карман куртки, выданной ему вместе с его вещами из камеры хранения и выдавшей виды ещё до последнего ареста, он думал: «Своя куртка лучше тюремной робы, на которой нашит лоскут с четырёхзначным лагерным номером».

Разношенным и растоптанным ботинкам не было сноса, хотя круглые носы выглядели слишком казёнными, и второклассные пассажиры поглядывали на странного соседа с опаской. Стержиков прилёг на верхнюю полку, закрыв собой скудный багаж и проспал много часов.

Москва встретила Андрея Георгиевича не слишком приветливо. Здесь у недавнего заключённого не осталось теперь ни одного знакомого. Прямо с вокзала Стержиков пошёл на Кузнецкий, предъявил документы о реабилитации и попросил поселить его временно, потому что рядом, совсем недалеко от районного отделения НКВД, находилась его старая комната, и он надеялся, что отвоюет её, воспользовавшись столь необычными бумагами.

Получив направление в общежитие для обслуживающего персонала санатория-профилактория в Баковке Московской области, Андрей Георгиевич всё-таки дошёл до Тверской, ныне улицы Горького, чтобы убедиться, что там нет ни входа, ни квартир. Купеческий дом снесли, чтобы перенести высотные дома вглубь двора: центральную улицу столицы расширяли. Выбора не осталось, приходилось отправляться в Баковку.

Электричка неслась вовсю, за вагонными окнами проплывали пейзажи ранней осени, и постаревшее сердце Стержикова вдруг забилося в груди, как в молодые годы. Отступили многолетние размышления: «За что... За что...»

И память, возвратившаяся в юность, вызвала на оперную сцену весь оркестр в полной музыкальной силе, и зазвучал густой тяжёлый бас: пространство заполнила ария Короля-Птицелова.

ПОЕДИНОК ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ

На Дереве Правосудия укреплен королевский щит. Генрих Птицелов вынимает меч и ударяет в щит – это сигнал к началу поединка во имя справедливости. Гремят трубы, Лоэнгрин и Фридрих облачаются в боевые доспехи и вооружаются мечами.

Непримиримой рыцарской схваткой завершается первое оперное действие Музыкально битва Лоэнгрин и Фридриха находится в собрании вагнеровских боевых эпизодов, где вершина – «Полёт валькирий» из великой тетралогии. Здесь, в «Лоэнгрине», композитор вновь в романтически-мятежной стихии. Конечно, и мотив Божьего суда имеется в симфонической картине схватки, и противостояние медных духовых грубоватым фаготам до того момента, когда от могучего удара клинком противника Фридрих падает на землю.

Правила поединка не вправе изменить ни один человек. Немилосердный граф, жестокий и самонадеянный, проиграл не только сражение, предписанное «Дуэльным кодексом». Часы его сочтены... Над миром воспаряет торжественно-радостная лоэнгриновская мелодия. Она прервалась неожиданно, остановилась лишь тогда, когда победитель не воспользовался своим законным правом и пощадил поверженного противника. Всеобщее ликование и на сцене, и в оркестре. Безмерно счастливы и король, и свидетели недавнего поединка. И в жизни, и в оркестре – Лоэнгрин, один Лоэнгрин. И лишь предельно чуткий, недоверчивый к счастливым концам слушатель способен в просветлённо-победных аккордах уловить мрачно-печальные фразы, которыми обмениваются Фридрих и Ортруда. Муж и жена тяжело, с болью переживают поражение, и стремительный, празднично-пышный оркестровый финал лишь прибавляет скорбного предчувствия.

ПЕРЕМЕНА БЫТА И БЫТИЯ

В крохотной комнатке в Баковке Стержиков прожил почти месяц. С утра, как на работу, он ходил по направлению отдела НКВД в Управление коммунальных услуг центрального округа Моссовета и потом по разным инстанциям, получал ордера на осмотр квартир, и кто-то в очереди посоветовал ему: не соглашайтесь на первую, ищите район и квартиру, хоть в новостройке, но свежую. И обязательно рядом со станцией метро.

Он согласился поселиться по третьему ордеру на шестом этаже девятиэтажного дома в однокомнатной квартире с маленькой комнатой при кухне для прислуги, из которой можно было видеть станцию метро «Текстильщики». Он хохотал, представляя себя барином с прислугой. Квартира была новая, грубовато покрашенная по стенам и полу зелёной краской, только потолок был ослепительно белый. Это уже возникла другая жизнь. Ему предложили грузчиков и машину перевезти вещи. Тоже очень смешно: «Всё моё ношу с собой». Дом, кстати, заселяли иногда жильцы соседних деревянных домов и бараков. Обрадованные новосёлы кое-какие отслужившие вещи оставляли за ненадобностью на дворовой свалке. Тут зевать было некогда. Каждую ночь свалку перемещали в другое место. Он подготовил стол, пружинный матрас и пару колченогих табуретов. Договорился с грузчиками, которые, как муравьи, носили вещи до грузового лифта и за умеренную плату перетаскивали и занесли в квартиру и его скарб со свалки. Он с удовольствием расставил «антикварную» мебель в обретенных апартаментах.

Утром следующего дня писатель приобрёл старенький «Ундервуд» в комиссионном магазине арифмометров и пишущих машинок, который, как и прежде,

стоял на углу Дмитровки и Страстного. «Ундервуд», казалось, закрепившийся на полке с 1938 года, был, конечно, великоват для приобретенного на свалке стола, но сверкающий зелёным и черным лаком соблазнительный трофейный «Рейнметалл» оказался не по карману. Зато сколько милых канцелярских мелочей купил вдобавок Стержиков и, нагруженный большой коробкой и разноформатными свёртками, спустился в метро, где свободно ориентировался. Запах нагретого железа и машинного масла сказал ему:

– Ты дома! Да, дома! Дома!

Стержиков сел за работу. Многолетне обдуманый «Корабль королей» плыл к желанной пристани, как быстроходный крейсер или эсминец. За месяц рядом со старинным «Ундервудом» появилась пухлая папка с рукописью. Всё было бы прекрасно, но роман оставался без завершения. А ведь необходимо навёрстывать упущенные годы. Почти в лихорадочном состоянии Андрей Георгиевич набрасывал варианты романного конца. Но всё получалось неубедительно, фальшиво до оскомины.

Пора ехать к Кириллову. Как-то он меня встретит? Восемь лет небытия... Стержиков посмотрел на себя в зеркало – лицо было чисто выбрито, как-то необычно пухлое, но глаза – он узнал свои глаза – светились молодым блеском: «Можно меня ещё узнать». Матвей Кириллов, если жив, ждёт и дождётся. Конец должен быть реальным. Сколько мне лет? А – пятьдесят три! Успею, теперь всё успею.

Утром он отправился на Почтамт. Долго он выбирал адресат, чтобы узнать и другие телефоны за один присест, подумал: «Если сделаю два-три заказа, мало того, что прослушают, ещё посадят. Полонский – вот кто знает всех и вся. Мне нужен Тальдман, в первую очередь. Кириллова не расшифровывать. Больше никого нужного не было. Заказал разговор с Яблоневым градом с услугой – найти телефон по фамилии Полонский Глеб Сергеевич. Любезная телефонистка спросила адрес.

– Помнится, улица Интернациональная, между Виноградова и Калинина.

– А номер?

– Не помню.

– Если соединим, оплатите двойной тариф.

– Согласен.

– Документы есть?

Стержиков достал свеженький паспорт.

Соединили относительно быстро. Короткий разговор с Полонским обрадовал. Глеб Сергеевич ничем не выдал обстоятельств знакомства со Стержиковым, не попенял за долгое отсутствие, всё принял, как должное, и заверил, что будет рад приезду старого знакомого. Прощаясь, Полонский сказал: «Сообщите о приезде, встретим».

Потом Андрей Георгиевич поехал на дальнюю московскую окраину, в почтовом отделении попытался найти номер телефона Кириллова. Здесь старания не увенчались успехом. Рискнул заказать разговор с Тальдманом, также по фамилии со справкой, с дополнительной оплатой. Минут через двадцать телефонистка по громкой связи подозвала Стержикова к окну.

– Запишите номер. Соединить?

Впрочем, вдохновенный наступательный запал Андрея Георгиевича иссяк. Номер он записал, услугу оплатил, однако от разговора отказался.

Задуманные переговоры Стержиков заменил неотложной поездкой на площадь трёх вокзалов. На Казанском – просто повезло: не пришлось стоять в долгой

очереди. Незнакомый седой бородач, которого от кассового окошка отделяло три-четыре человека, присмотревшись к нему, подозвал и втащил в очередь перед собой. Люди не успели возмутиться, как пожилой бородач примирительно, как бы отталкивая толпу обеими ладонями, постоял спокойно и безмолвно, а после направился в хвост очереди. Стержиков кивнул ему благодарственно, мол, «Зэк ЗК видит издалека».

И совсем скоро Андрей Георгиевич держал билет в Яблоненый град. Место в плацкартном вагоне в это мгновение свободы казалось верхом всех желаний. И ещё подумал: оказывается, он рад вернуться на старое пепелище.

Перед отъездом предстояла ещё одна московская поездка. На другой день Стержиков зашёл в редакцию толстого журнала, располагавшуюся недалеко от памятника Пушкину, и предложил отделу прозы сюжетно законченный отрывок из романа «Корабль королей». Моложавая неулыбчивая женщина, как бы активистка Осоавиахима на пенсии (короткая стрижка, седина), поинтересовалась биографией незнакомого прозаика. Андрей Георгиевич откровенно, но не вдаваясь в подробности, рассказал про тюремные и лагерные годы.

– Эта тема – наш материал. В редакционном портфеле есть несколько рукописей. Для более основательного разговора давайте пройдем к редактору.

Редактор пригласил присесть, стал перелистывать принесённую рукопись, временами останавливаясь и с профессиональной цепкой пристальностью выбирая из текста некоторые абзацы. Пришедшие молчали. Стержиков волновался, потому что понимал – немедленного согласия ждать не стоит.

Редактор сказал:

– Ирина Дмитриевна, лагерные «страсти-мордасти» сократите. Пожалуй, стоит объяснить автору, что от сдержанности роман только выиграет. Нет смысла, Андрей Георгиевич, ретиво встраиваться в шеренгу разоблачителей. Здесь вас опередили, постарайтесь не быть похожими на предшественников. Всё-таки договор заключим сразу, выдадим аванс. Надо ли напоминать, что право первой публикации вы безоговорочно передаёте нам.

Требуемой наличности в кассе не оказалось. Стержикову предложили заплатить аванс через неделю, максимум, – десять дней. Пришлось Андрею Георгиевичу объяснить, что срочно покидает Москву, и оставить адрес для перевода: «Яблоненый град, Почтамт, до востребования».

Накануне отъезда Стержиков позвонился Тальдману и договорился о встрече в Почтовом парке, на территории «Лебединого стана». Тальдман сказал собеседнику, что выйдет из университета после второго лекционного часа и быстро доберётся до берега пруда, поскольку до «Лебединого» два шага. Стержиков обрадовался, что в Яблоненом граде – не московские расстояния.

Почтамт располагался совсем рядом. До конца первой лекции оставался почти час. Стержиков зашёл в почтовую контору ровно в девять, при открытии. «Суммы прописью» еще не прислали, но он получил письмо от друга.

Дальний друг – Стержикову

«Мой дорогой Андрей! И вновь восторжествовала старинная русская эпистолярная традиция: не отвечать своевременно на дружеские, вражеские и все прочие письма и телеграммы. Безответные любовные послания, казённо-строгие официальные бумаги, рано или поздно, пережив притворные вздохи получателя, отправляются в огонь или в мешок макулатурного сборщика. Умеренность и аккуратность – отличительные черты не нашего образа жизни.

Каждое твоё письмо – можешь не сомневаться! – сберегается в целостности-сохранности. Так это будет происходить и впредь, что бы ни произошло в нашем «прекрасном и яростном мире». Насчёт «прекрасного», оставим на совести Андрея Платоновича, а вот «яростного» – до такой степени бесспорно-широко, что я бы сузил. Ладно, оставим в покое Достоевского и Платонова, обратимся к нашим делам. Чуть не написал «к нашим баранам», но вовремя спохватился, что и так мой слог поменьше мог пестреть всевозможными цитатами. Впрочем, и ты в такой же степени гресишь симпатичным и витаминно-полезным для русской словесности недугом.

Одним словом, смирись, Андрей, что имеешь в далёком товарище по переписке верного поклонника изысканно-ветвистой прозы.

Что имеем в сухом остатке? «Корабль королей» прочитал ещё два месяца назад. Судьба на неопределённый срок забросила подальше от любимой подмосковной берлоги за две-три тысячи вёрст. Тогда как раз по великой сибирской реке уплывали к океану, именно, к Северному, и в то же время Ледовитому, последние льдины. Зрелище незабываемое! Вот тебя бы сюда с твоей любовью к фразам непревзойдённого образца: «Яблоки благоговейно брались...»

Вышеозначенный «Корабль» заинтересовал меня чрезвычайно. Не скажу, что читал взахлёб, забывая про сон и пищу, но, отложив роман на неделю-другую, знакомился с твоим прозаическим сочинением пошагово, отлично понимая, что придётся держать ответ перед суровым и мятежно-ранимым автором. К слову, неподдельное «влечение, род недуга» к приплывшему Бог весть из каких морей и океанов «Кораблю королей» вызвано великой тенью Рихарда Вагнера, которой (тени), к вящей славе немецкой музыки и русской прозы нашлось почётное место на палубе таинственного парусника. Нет, Андрей, это, в действительности, соответствует истине, что великому удачнику Стержикову крупно подфартило слушать «Валькирию» в столице. На такой поворот музыкально-приключенческого сюжета не решился бы и духовный отец всех трёх мушкетёров и д'Артаньяна. Впрочем, какая разница...

Отдельно замечу, весьма печально, что автор гениального «Жана-Кристофа» расстался с белым светом чёрт знает сколько лет назад, а то не миновать бы тебе получить монументальный музыкально-эпический шедевр с дарственной надписью.

Это всего лишь к слову, не больше...

Теперь признаюсь в поступке, возможно, предосудительном, но поскольку повинную голову меч не сечёт, спокойно сообщаю: перед поездкой в отдалённые гиперборейские края решил отправить «Корабль» по двум адресам поочередно. Для начала – по частному ленинградскому, а после – в один из московских крупноформатных ежемесячников, в литературском просторечии, «толстяков». Питерский читатель из всё того же высокоинтеллектуального круга весьма ценимого мною Роберта Воронова, мастера Божьей милостью, а москвич, завотделом прозы – величина не то чтобы малоизвестная... Тем не менее, в литературном мире известность лютого Цербера он приобрёл давным-давно.

Ждать моего срочного ответа, понятное дело, не стоит. Набирайся неизбежной выдержки, Андрей, и утешайся тем, что меня самого предстоящие предполагаемые ответы волнуют в меньшей степени; надеюсь, таковые ответы воспоследуют, а пока прошу тебя заново прислать романский отрывок, начинающийся с накрепко запомнившейся фразы «Недавний заключённый безбрежно-проклятого Хабарлага...» Дело в том, что распечатать «Корабль...» второй раз не позволила слабая грамотность машинистки, единственный экземпляр, прочитанный в Ленинграде.

благополучно переправлен в московскую редакцию. Согласись, что посылать второй экземпляр в высшие редакторские сферы – раньше считалось скверной приметой. Вершителям наших судеб было не очень-то по нраву пребывать в очереди на прочтение. Думаю, что в нынешние времена такое объяснение звучит не столь внятно и не очень понятно. Да Бог с ним, однако...

Твоему пожизненному заболеванию русской прозой сочувствую, твои страстные страдания, печаль озабоченной души непритворно принимаю близко к сердцу. Но вот какое дело. Да, времена настали неблагоприятные: русская литература талантливыми людьми не оскудела, просто-напросто нынешняя проза и нынешняя поэзия – поистине «глас вопиющего в пустыне». Нет, нет, отнесись к библейскому выражению всерьёз. Отправляйся в подлинную пустыню, а в помощь твоему воображению – платоновский «Такыр» или «Земля людей» Экзюпери. И вот ты стоишь в песках сыпучих, заливаясь слезами горячими, и в полном одиночестве от восхода до заката вопиешь... К кому? Русь не даёт ответа...

Да, современный читатель, которого публицисты предлагают занести в «Красную книгу»... Про мизерные тиражи и говорить смысла нет. Одним словом, все эти приметы ограниченного действия искусства слова безрадостны. Но, старый товарищ, позволь мне тебя подбодрить. Даже если ты останешься единственным читателем того, что сочиняешь, продолжай писать. Ты всю жизнь создавал себя. Продолжай, друг мой. Фрагмент «Корабля...», тобою присланный, выпросила будто бы для отзыва молодая и умная, но крайне необязательная дама из музея Достоевского. Так что, жди, не унывай!»

Отвечать надо было сразу, а то «долгий ящик» разобшит на продолжительный срок. Стержиков тотчас присел к столу и закончил письмо, начатое ещё в поезде.

Стержиков – Дальнему другу

«Дорогой Александр!

Пишу тебе наугад и наудачу: времена-то не то чтобы прежние, когда молчание ценилось намного дороже золота, однако и не те, когда образованные русские люди письма писали целыми томами. Видимо, поэтому ты пока не удостоил меня ответом на первые страницы «Корабля королей». Посланный тебе отрывок – свидетельство, что мне страстно хотелось возратить в русское искусство погибшего в блокаду художника, «северного импрессиониста», мало кому известного собрата то ли Нестерова, то ли Бакста. Да мало ли кого из замечательных «исчадий мастерских», чьи холсты и акварели столь же прекрасны, сколь и неведомы, хотелось бы вернуть в жизнь из глубокой и глухой безвестности!

Не знаю даже, радоваться или печалиться, что мою скромную, пусть и не совсем традиционную, прозу читают «в высших сферах». Понимаю нечто другое, а именно, что мне более двадцати лет назад и вправду неслыханно повезло. И не только потому, что попал в атмосферу «Валькирии» и «Лоэнгрина», не только потому, что сподобился слушать пророчески-божественную вагнеровскую музыкальную стихию. Саша, только представь себе, какие адские капканы и ловушки изобрела и расставила мне как автору «Корабля королей» эпоха. По правде говоря, если хоть что-то напишу – а я ведь продолжаю писать – рассчитываю заслужить звание избранника времени.

Прости, на мгновение прервусь, чтобы вспомнить, что же дальше-то было написано про Стержикова ...

«Пожизненная гимназистка», Софья Владимировна, обладательница щеголеватого-византийской фамилии Оригенова, подарила молодому человеку

уникальную английскую книгу в твёрдом темно-зелёном переплете. Данный томик железной прочности оказался подлинным текстом «Гамлета» с многостраничными комментариями. А приобрела великую драму Софья Владимировна на послевоенном (имею в предмете Первую мировую) букинистическом развале, на берегу Сены, вблизи Собора Парижской Богоматери. Получив подарок от Софьи Владимировны, я чувствую себя должником-шекспироведом, но мои познания без применения. Это меня разрывает на части – не могу сосредоточиться только на «Корабле».

Конечно, я не пытаюсь скрыть, что моё романное намерение, обширный прозаический замысел, с самого начала поневоле отмечен «золотым клеймом неудачи». Долгое время верилось, что все эти затруднения, недоступность неослабевающего течения сюжетного прозаического материала со всеми препятствиями, остановками и перерывами не помешают постепенно приближаться к концу.

Время от времени романный запал остывал, я возвращался к нескончаемой автобиографической повести, просматривал концертно-стенографические наброски многолетних записей о музыке с целью составить сборник эссе, заглядывал в папку с пейзажно-прозаическими набросками. Ваш покорный слуга с юных лет записался в прилежные ученики к Михаилу Пришвину, да и не только к нему. Тем сильнее, рано или поздно, всё явственнее, всё неотступнее в повседневную жизнь вторгались грозно-повелевающие звуки «Полёта валькирий». И смягчался запредельный незримо-небесный вызов лишь трагически-сладчайшей загадочностью приплывшего из неизвестности лебединого рыцаря – Лоэнгрин. Для русского человека – это, конечно, ангел, который по небу летел и песнь небесную пел.

Казалось бы, мне, когда-то сочинившему «Жизнь живописца», не особенно придерживаясь действительного жизнеописания «скандального российского богмаза», можно было бы без серьёзного риска творить, выдумывать, пробовать и в романе «Корабль королей».

Да не тут–то было! То ли божество русской прозы утратило веру в провинциального прозаика и лишило надёжного благословенного присмотрщика, то ли, прости, Господи, за малодушие, эпоха романного повествования подошла к концу, и грандиозные многотомники прошлого перейдут в разряд литературных памятников, без которых народу и истории не обойтись, но и создать нечто подобное никому больше не дано.

Зачем же беспросветно заниматься бесполезным, хотя и притягательным предприятием? Эмоциональность, интеллектуальность, жажда признания и вера в призвание – это ведь неперемный писательский багаж. Но что дальше–то, зачем и к чему великие писательские труды и дни? Ты, Александр, полагаешь, что высказанные вопросы – риторического характера. Ошибаешься. Это я тебя спрашиваю, от тебя жду отзыва, пусть мне самому ответ давно ясен. Он только расширяется, дополняется, комментируется.

Впрочем, толковать обо всём сказанном можно долго и не без пользы. Мне эти разговоры, как хлебная пайка – голодному каторжнику. Пока же посылаю отрывок, прости, что лента в машинке поистерлась. А коли сможешь насвежо перепечатать, так и вообще чудесно».

Отправив письмо, Стержииков занял железный стул в «Лебедином стане» и через несколько минут обрёл Тальдмана и «прекрасный конвой» – так он назвал двух красавиц сопровождавших Льва Борисовича. Приближался конец 57-го года...

ЧЕРЕЗ ВОСЕМЬ ЛЕТ В МАСТЕРСКОЙ КИРИЛЛОВА

Сейчас, в мастерской Кириллова, Андрей Георгиевич находился в приличном костюме, в отличных башмаках – и всё куплено на собственные деньги...

О, ностальгия по молодым загубленным годам! Он вспомнил, как ходил на вокзал посмотреть на локомотивы и поезда и помечтать о дороге домой, в Москву. Посмотреть на счастливых, которые куда-то ехали и не смотрели по сторонам занятые своим скарбом.

– Сегодня же вечером пойду-ка в памятный «наблюдательный приют». Однако в тот день Стержиков на вокзал не ходил, давнее намерение пришлось отложить.

«КОРАБЛЬ» ГОТОВИТСЯ К ОТПЛЫТИЮ

... Матвей Алексеевич Кириллов с осторожностью поставил на мольберт «Корабль королей».

Перед тем, как законченный портрет Стержикова Кириллов начал переносить на «Корабль...», он приступил к тщательной грунтовке. Работа требовала исключительной собранности, но всё-таки Матвей Алексеевич справился с ней за три неполных дня.

Наконец филигранная грунтовка была закончена.

Мастер прикрепил в верхней части мольберта, над загрунтованным «Кораблём королей», портрет Стержикова. Этой работе предназначалось замаскировать шедевр Евгеньева, которому суждено временно исчезнуть в ожидании неперемогенного возрождения.

Кириллов припомнил прежние времена, когда приходилось на заказ копировать «Утро в лесу», «Алёнушку» и «Трёх богатырей». На современной выставке Кириллов сразу мог отличить, что написано на чистом холсте или поверх портретов устаревших вождей. Часто попадался портрет Сталина. И Кириллов думал, как, наверное, охватывала художника холодная испарина, когда он писал пейзаж или натюрморт по сталинскому лицу.

Вот и теперь рука и глаз, как оказалось, не потеряли прежней твёрдости и сноровки. На отдельном листе в размер стержиковского портрета, Матвей Алексеевич разметил его на квадраты. Остальное было делом техники: палитра, кисти и тюбики с краской...

И дни и ночи за мольбертом... И дело пошло. Прекрасный «Корабль королей» вскоре перекрыл портрет темноглазого мужчины, на высокий лоб которого свешивалась каштановая прядь, слегка прокрашенная тусклым серебром седины.

... Кириллов на короткое время оставил в покое принадлежности живописного ремесла и позволил себе отвлечься от настоящего, отойти в те дни, когда Говоров оставил ему драгоценный «Корабль королей», а Стержиков не возвратился к обещанному сроку. Не произошло возвращения и позднее, Матвей Алексеевич первое время беспокоился каждодневно, несколько раз собирался отправиться дорогой, известной всем, кто рано или поздно переживал насильственную разлуку с близким человеком.

Но неизменно останавливался, успокоительно рассуждая – «Надо положиться на Бога». Потому что прекрасно помнил завет одного старого каторжанина, чудесным образом уцелевшего в непроглядном магаданском мраке: «Матвей, не делайте лишних движений. Вы и так на мушке!»

Постепенно Кириллов не смирился, а притерпелся к тому, что есть, как привыкают к вечному ранению. Сильнее беспокоит в дождливую погоду. А так – всё же меньше. И то, слава Богу.

Прошло-пробежало восемь лет. Картина «Корабль королей», тайно расположенная среди множества холстов хозяина мастерской, за протекшие годы так и не привлекла ничего постороннего взгляда.

Один раз в году, в тот самый день, когда Стержиков, пообещав вскорости вернуться, так больше и не появился, Кириллов, прикрепив к двери картонку с надписью красной масляной краской «Скоро вернусь!», закрывался на ключ и доставал «Корабль королей».

Смотрел на картину, и его охватывала бесконечная жалость. Так печально жалеешь одинокого сироту, которого приютит, но помочь чем-либо особенным, спасительным не в состоянии.

...К счастью, в один прекрасный день сиротство закончилось. В мастерской Матвея Алексеевича появился Стержиков. Не сказать, чтобы здоровый и румяный – не в санатории же он пропадал всё это время – живой.

Обнялись, погрузили, о восьмилетней каторжной одиссее разговор не получился, да и кому нужны бесполезные воспоминания о невозвратном.

Кириллов вызволил «Корабль королей» из убежища, смахнул со спасённого полотна слабый пыльный налёт и поставил на мольберт. Пододвинул к мольберту стул, закапанный разноцветными пятнами и пятнышками. Сказав, что отлучится на минуту-другую, вышел из мастерской, оставив гостя наедине с картиной.

Деликатно заглянув через полчаса в мастерскую, Матвей Алексеевич нашёл Стержикова, медленно шагающего по мастерской. Гость старался ничего не задеть и не повредить. Время от времени останавливался и смотрел на «Корабль».

Кириллов понимал Андрея Георгиевича: «Сам бы смотрел, не отрываясь, целыми днями...» Подумалось, что когда полотно займёт место в музее, притягательность картины не потускнеет...

Повышенная температура первого посещения постепенно снизилась. Стержиков стал приходить в кирилловскую мастерскую день за днём. Как правило, ближе к вечеру. Порой засиживался до полуночи. Впрочем, такие визиты, всегда приятные художнику (такой гость, как редко кто, совершенно не был в тягость Кириллову), продолжались всего дней восемь-десять...

Матвей Алексеевич стал привыкать к Стержикову. Поощрительно хмыкал, выслушивая нечастые и непродолжительные монологи гостя, не особенно прислушиваясь и безостановочно занимаясь обычной рутинной живописного ремесла. Однако, в утомительно-привычной жизни настоящего мастера неизбежны алмазные вспышки, всполохи божественной талантливости.

Иначе разве засияли бы над нашей бедной, почти беспросветной жизнью белые, голубиные, крылатые паруса единственного на свете «Корабля королей»!

Об этом, ничуть не смущаясь собственного высокопарного настроения (Кириллов не часто позволял себе подобные взлёты в небесные эмпиреи), Матвей Алексеевич размышлял, заканчивая серию эскизов из путешествия по Иссык-Кулю. Чтобы не упустить заказ, приходилось поторапливаться, – председатель экспертной комиссии отъезжал в заграничную командировку.

За всеми будничными событиями в Союзе художников Кириллов не заметил, что в его мастерской Андрей Георгиевич не появляется третий или четвёртый день. Один-два дня, понятно... Но не пора ли владельцу «Корабля» на всех парусах навестить добросовестного хранителя?

Отсутствовал Стержиков восемь дней. На девятый – распахнулась дверь мастерской, и на пороге показался Андрей Георгиевич собственной персоной. К тому же не один. Вместе с ним в мастерскую вошла Карина. Глаза мужчины и женщины празднично сияли. Лицо хозяина мастерской изобразило сложно-составную гри-

масу: веки и брови в изумлении захватили часть лба с волнистыми морщинами, губы заинтересованно-иронически слегка сдвинулись в одну сторону.

– Пришёл повиниться, – с нарочитой фальшивинкой в голосе начал Стержиков.

– Да ладно, бросьте липовые церемонии, – прервал покаянную речь пришедшего Кириллов. – Восемь дней не срок по сравнению с теми восемью годами, на которые вы пропадали... Карина, проходите, устраивайтесь... Рассказывайте, Андрей Георгиевич, по всему видно – новостей набралось... Вы с Кариной выглядите, как молодожёны...

– «Угадчики – хорошие пророки», – пробормотал как бы про себя строку из «Короля Лира» знаток шекспировских трагедий. – Окрутили меня, обратали, охомутали... Оженили... Перед вами – супружеская пара... Мы с Кариной как раз возвращаемся из загса... Её мама, Марьям Канабековна, сейчас стол накрывает – отметим чем Бог послал...

...Да... Из лагерных странствий возвратясь, Стержиков отныне во всём действовал без промедления. Познакомившись, благодаря рыцарю изящного устного слова Льву Борисовичу Тальдману с красавицей Кариной, Андрей Георгиевич тотчас принял непоколебимое решение: «Здесь мой причал, здесь суждено пришвартоваться моему кораблю...» Все прежние прекрасные привязанности юности, молодости и зрелости безболезненно перешли в разряд архивных событий. Незабвенные, недействующие ныне случаи и происшествия...

«Какое счастье! – постоянно говорил себе Стержиков, – что Бог послал Карину. Кто бы мог подумать, какая отрада вспоминать прошлое, когда рядом юное существо – богиня не богиня, но кто же с ней сравнится...»

И Андрей Георгиевич с Кариной от зари до заката гуляли по Яблоневому граду. С каждым днём его охватывало удивление: как много мест, где он испытал чувство неповторимости происходящего – события и люди так и просились на страницы большой прозы...

...Оперный театр, где Стержиков – переписчик нот, потом – консультант не дошедшего до премьеры вагнеровского «Лоэнгрина»; Театр юного зрителя – Исаак Иткинд, друг Шагала, провинциальный Роден; Театр русской драмы и университет – покоровший самого лектора шекспировский трагедийный канон, и мрачная глыба «Гамлета»... двор Комбанка, комендатура... И Заречье, Заречье!... – Слезная глава жизни!..

И так далее, и так далее...

...Но всё же оставим прошлое в прошлом...

Четыре парка Яблоневского града – Почтовый, Сосновый, Гвардейский и Дальний – также являлись ностальгической территорией, тем не менее, все они ласкали глаз цветными картинами и окутывали божественными осенними запахами – на дворе стояла середина октября.

Карина не меньше Стержикова наслаждалась великой семиреченской природой, во все глаза рассматривала большие и малые парковые пейзажи. Гвардейский парк приберёт для влюблённых подарок естественного происхождения, пусть и кратковременный.

Завершая обход неповторимой парковой четырёхчастной территории, в которой каждая подробность – часть грандиозного путешествия к полноте бытия, Карина и Андрей Георгиевич расположились в беседке вблизи детской железной дороги в Дальнем парке. И умиротворённо оглянулись вокруг. И душа надолго, навечно стала уязвлена невероятным зрелищем желто-лиственного моря – кругом росли одни берёзы. Именно моря, чтобы не сказать океана... Трепетный ветерок зыбко пошевеливал вороха листьев, порой вспоминая, словно пальчиком ребёнка,

притрагивался к берёзовым ветвям, и они негрубо стряхивали задержавшиеся листья, и те бесшумно ложились поверх ярко-жёлтого в нежарком солнечном освещении ковра...

...Прелестную спутницу Стержикова по путешествию в прошлое сморил сон, и она трогательно прислонилась к плечу проводника по ностальгическому раю.

А для него такая ласковая передышка – позволила решить: самое время вновь перебраться в памяти совсем недавние дни молниеносного жениховства и столь же стрелоподобного брака.

Марьям Канабековна не скрыла понятной озабоченности разницей в возрасте дочери и свалившегося с чёрт знает какой высоты Андрея Георгиевича. Но быстро поняла, что задавать вопросы на тему «любишь-не любишь» ни Карине, ни её избраннику нет никакого смысла. По всему понятно, что здесь состоялся выбор не только мужчины и женщины – «то в высшем решено совете, то воля неба...»

И мать Карины по-матерински, строго и сурово, расспрашивала о простом, житейском... Стержиков, не задумываясь, произнёс коронную фразу соискателя семейного счастья: «Я – человек неженатый!» Марьям Канабековна развела руками в знак неизбежности дальнейшего: «Тогда зачем откладывать государственную регистрацию брака, вы оба – свободные люди...»

Андрей Георгиевич не утерпел и вежливо уточнил: «До штампа в паспорте...» Твёрдо стоящая на земле Марьям Канабековна неформальные слова будущего зятя пропустила мимо ушей и прибавила:

– Младшим надо хороший пример подавать. Да и в другом городе со стороны закона должно быть всё в порядке, чтобы не к чему придраться... У Карины и её младшей сестры отец погиб на фронте; я одна дочерей воспитывала... Пока вы «прохлаждались по лагерным курортам»...

– Точно, точно, Марьям Канабековна. Там было так прохладно, прохладнее не бывает... И откуда вам так хорошо знаком курортный климат краёв, куда Макар телят не гонял?..

Так прошла «медовая неделя», по свежеизобретённому определению Стержикова. Об этом говорилось открыто. А вот то, что про Карину Андрей Георгиевич отзывался, как об «ещё одной спасительнице «падших», не упоминалось ни в коем разе.

И вскоре, в дополнение к парковой тетралогии – центральному событию ностальгического путешествия, – навестив старых знакомых, познакомив друзей с новообретённой женой, Стержиков предложил Карине навестить одно место, памятное ему со времён ссылки, – ресторанчик или кафе при железнодорожном вокзале. Карина возразила: «Мама дома надрывается с пирогами, пельменями, мантами, а мы в ресторан пойдём.

– Не обедать, нет. Хочу тебе показать «наблюдательный приют» – так я назвал это место, там всё ярче жизни. Давно я там не был...

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПРИУТ

Сосланному Стержикову в предыдущей жизни чрезвычайно нравилось время от времени забредать в этот привокзальный ресторанчик. С утра до вечера – живая, не книжная «Человеческая комедия». Коллекция человеческих характеров, наблюдать которые для сочинителя – нескончаемое наслаждение. Никому и в голову не приходило, какой зоркий и дотошный соглядатай сидит себе посиживает в неприметном, полуосвещённом ресторанном уголке. Словно у случайного посетителя средства находились только на одинокий угловой столик. Вообще-то,

средства, действительно, имелись. Правда, плачевные, да и то не каждый день. Тем не менее, покидая на короткий срок незаконченную рукопись романа, каторжное переписывание нот и драгоценные воспоминания о театре, Андрей Георгиевич во что бы то ни стало на последние копейки стремился сюда. Здесь протекала чужая жизнь, и её можно было рассматривать без прикрас, в жестокой голой сущности, в неприглядной нетрезвой откровенности, когда, склонившись над стаканом с московской горькой, посетители исповедовались случайному собутыльнику. Но часто лишь самим себе.

Стержиков почти мгновенно угадал человека секретной профессии в низкорослом, крепко сбитом парне, чей короткорукавный пиджачок, очевидно, был позаимствован у младшего брата. Длинный и потрёпанный серый шарф обматывал шею и рот с подбородком. И Андрей Георгиевич, и «сотрудник» напряжённо стремились не пропустить ни слова из того, что говорилось. Проходил как бы серьёзный поединок, безмолвное и необъявленное сражение двух секретных наблюдателей. Но цели-то предполагались совершенно противоположные. Намерение Стержикова вполне обозначилось, если заглянуть далеко вперёд, как божественное, когда он, свободный человек и признанный писатель, обнаружит свои мемуарно-ностальгические романы.

Очевидная цель парня – ловить простачков на неосторожном слове. Пристроившись к весёлой компании, убогий «ловец человеков», провинциальный завсегдаятай неизменно людного местечка, скорее всего чувствовал себя невероятным хитрецом, лукавым пройдой, которому сам чёрт не брат. Знал бы он, что настоящий специалист по охоте на характеры давным-давно раскусил мелкого сыщика.

И огорчало Андрея Георгиевича лишь то, что породистому псу поневоле пришлось брать в расчёт нагло крутящуюся перед глазами мошкару, гнуса, от которого недолго прийти в душевное расстройство, не завершив размышления о «сошествии в ад», хоть в дантовском, хоть в нынешнем, ссыльно-надзорном смысле.

Однако такой характер вызывал у Стержикова постоянное любопытство. Казалось, что такого рода «наблюдатель», но вполне возможно, именно он сам выстрелит Стержиковым из пращи...

Эти здравые мысли не помешали Андрею Георгиевичу ещё неоднократно посетить «наблюдательный приют», он даже огорчился, если не встречал соглядатая на привычном месте.

Конечно, в нынешний приход он его не встретил. И вообще весь вокзал гудел и двигался совсем не так, как в сороковые годы, да и одеты приезжающие и отъезжающие были по-другому. И новое обстоятельство оставило отрадное впечатление. Люди изменились, а, главное, Карина так и не поняла того бедственного положения, когда приходишь на вокзал провожать вожделенные поезда во все стороны, привязанный непреодолимой силой к своему нищенскому месту, полному борьбы за кусок хлеба. Из нынешнего посещения Стержиков понял, что жену надо пожалеть. И если она чего-то не знает о нём, бывшем каторжнике и ссыльно-поселенце, тогда и не надо. Он собирался жить заново и чувствовал в себе нерастраченные силы.

АДСКИЕ КРУГИ

Утром Стержиков отправился к Кириллову – забирать «Корабль королей», о котором Карина так и осталась в неведении...

...Но сборам в дальний путь предшествовали многие события. Непростые...

Андрей Георгиевич полагал, что передача полотна произойдёт, так сказать, из рук в руки. Благодарственные и поздравительные речи, чарочка белого или

красного «на посошок». А потом – «Пишите! И вы пишете!», «Звоните! И вы звоните!»

Ан, нет!

– Не обойтись без формальностей, – деловито-пунктуально втолковывал Кириллов. – Действовать будем так. Я отдаю ваш портрет на выставку. Осмотрит экспозицию экспертная комиссия... Хорошо, что вам не придётся тащить картину на заседание худсовета... И томиться за дверью в ожидании милости или милостыни... В зависимости от того, на какие шиши расщедрится Министерство культуры. Но в любом – лучшем или худшем – случае работа получит оценку. И мы с вами топаем к нотариусу – оформляем дарственную...

– Это – обязательно? А можно обойтись без затяжной процедуры?

– Сутяжная ничуть не лучше. Сомнения в моей бескорыстной благотворительности неизбежны... Так что сопротивление бюрократическим препонам бесполезно. Придётся пройти все барьеры и повороты... Так ведь не мне обучать вас терпению – вы, по моему мнению, и без того прошли хорошую школу. Верно?

– Да, верно.

Андрею Георгиевичу всё-таки пришлось претерпеть непродолжительные мятарства. Хорошо, что Матвей Алексеевич заранее забежал вперёд, предупредив Стержикова о тягостной процедуре обретения портрета в личную собственность натурщика, то есть, модели...

Не сразу, но всё же удалось получить и справку из Художественного фонда о стоимости картины, и официальное письмо из Союза художников, подписанное председателем и двумя руководителями секций – искусствоведческой и живописной.

Все подписанты в один голос подтвердили, что «Портрет писателя» не относится к художественным раритетам и не подпадает под инструкцию Министерства культуры о запрете вывоза из республики произведений искусства особой ценности.

– Вот они, бронебойные документы повышенной прочности, – не без горечи подвёл итог общению с советской бюрократической машиной Стержиков.

– Не берите в голову, не ударяйтесь в мерлехлюндию, – Кириллов для укрепления бодрости в ходе по мукам применил едкое чеховское словечко. – Простите великодушно, что не имел возможности сопровождать вас в сражении за справедливость. Но ведь вы не оставались в одиночестве... Позаботились заранее... Карина, скорее всего, помогла вам скоротать мирные канцелярские будни...

– Конечно, помогла... Не успела выйти замуж, и здравствуйте, пожалуйста, накатили чёртовы вытребеньки... Ерундовые дела, конечно, но что поделаешь – переживаю... Старость пришла – открывай ворота...

– Молодому человеку и по совместительству молодожёну кокетство не к лицу... Впрочем, обменялись шутками, и – вперёд... Так вот, пока ваш портрет оценивали и отпускали на волю, мне-то пришлось готовиться к шефской выставке в пограничнице... Опять отвлеклись... Короче. Завтра с утра приходите ко мне, и мы вместе держим путь к нотариусу.

Всё это время двуслойная картина не покидала мастерской. Портрет Стержикова фигурировал и на выставке, и у нотариуса. Только перед отлётом с подрамника сняли закрытый обречённым портретом «Корабль королей» и поместили в багаж владельца.

Вручив дарственную Андрею Георгиевичу, Кириллов обошёлся без поздравлений. Он чувствовал себя не в своей тарелке, старался держаться подальше от Карины и, тем более, избегал смотреть девушке в глаза.

После застолья, устроенного матерью Карины, Андрей Георгиевич остался в доме жены. «Хорошо жить человеку на тёщиных хлебах», – удовлетворённо

говорил самому себе Кириллов. Матвей Алексеевич, довольный тем, что как бы там ни было, а портрет, действительно, хорош, порой задумывался над тем, как, наверное, огорчится Карина, когда муж, втайне от жены, понесёт приговорённый к исчезновению портрет реставратору. Не говоря никому ни слова, Матвей Алексеевич пообещал себе, что рано или поздно, действительно, подарит настоящий портрет Стержикова новой семье. Это станет его подарком на счастье Карине и Андрею Георгиевичу. После реставрации «Корабля королей»; тогда он и утолит печаль по уничтоженному портрету натурщика и его близких.

...Настал день, когда все мыслимые и немыслимые препятствия удалось преодолеть, и портрет со спрятанным под ним «Кораблём королей» Стержиков самым бережным образом, не доверив ни Карине, ни Марьям Канабековне, скрутил в трубку и завернул в большой ситцевый лоскут.

Матвей Алексеевич старался не расставаться с Андреем Георгиевичем все дни, предшествующие отъезду новобрачной пары. Он помогал выбрать подходящий к случаю чемодан, самолично положил на его дно драгоценный свёрток, проводил до контрольного поста.

Многоопытный Кириллов, ветеран авиарейса «Яблоневый град – Москва», придержал Стержикова, пока не набегали пассажиры, пока не образовалась солидная очередь, а Карина с Андреем Георгиевичем не оказались в её второй половине.

– На всякий случай... – объяснил Кириллов. – Нам лучше – к концу смены... Чтобы у служащих аэропорта не осталось сил на придирчивый досмотр... Вот такие мы хитрые... и изобретательные...

Дальний друг – Стержикову

Дорогой Андрей, добрый день!

Прошу не обращать никакого внимания на то, что долго тебе не писал. Произошло великое множество разнообразных событий, включая поездки и путешествия. Пришлось и физически потрудиться... Однако в нынешний рейс захватил с собой все присланные тобой фрагменты романа, а также опубликованные главы из альманаха «Яблоневый град». Потратил некоторое время, чтобы сложить отрывки в необходимом, как мне показалось, порядке, чтобы получить законченное, цельное представление о «Корабле королей». Компасом служил сюжет «Лоэнгрин». Как ты знаешь, сам я, кроме записей в судовом журнале, ничего не пишу, зато читаю и судить вполне в состоянии, тем более, когда речь идёт о произведении друга, которому я сочувствую в каждой строчке. Отозваться – моя обязанность...

Так вот. Прочитал в выстроенном порядке и понял, что чего-то не достаёт.

Кстати, перед отплытием ледокола рейс на несколько дней задержался из-за погрузки. Грех было не воспользоваться, отправился в «Мариинку». Так все называют наш оперный театр. Так называю его и я: ведь всё равно рано или поздно ему вернут настоящее имя. Попал – ещё одна удача – на «Лоэнгрин».

Пока исполнялась увертюра, огляделся по сторонам. Зрители всё больше с программками в руках, а кое-кто и с партитурами. Слава Богу, при мне собственная «партитура» на трёх страницах. Наслаждаюсь великой музыкой, одновременно отмечаю прозвучавшие номера – арии, ансамбли, хоровые партии.

Обнаружилось, что с авторским порядком ты обошёл произвольно. Это свободно можно принять. Тем не менее, кое с какими изъятиями невозможно примириться. Нет конца истории: нет гибели Эльзы, нет чудесного преобразования белого лебедя в мальчика Готфрида. Наконец исчезли подарки Лоэнгриня народу Бранбанта – меч для Готфрида, кольцо на память Эльзе и золотой рожок.

И божественный голубь не прилетел.

Все эти пропажи необъяснимы. Как я понимаю, необходимо завершение. А музыкально оно есть – финал оптимистический и торжественный.

Андрей! Пожалуйста, разясни ситуацию: что ещё ты напишешь?

Всего доброго, отзывайся поскорее – меня в пример не бери.

Стержиков – дальнему другу

Дорогой Александр! С вагнеровским «Лоэнгрином» – музыкой и словами – не расставался с давних пор. И по сей день не расстаюсь. Конечно, прекрасно помню конец оперы. Переводить тексты либретто начал с конца ещё во времена работы с Сергеем Митрофановичем Городецким над «Иваном Сусаниным». Очень хотелось донести до русского слушателя во всей полноте содержание литературно-музыкального произведения Вагнера. Разумеется, не исключая трагедийного оперного конца.

Однако со временем моя преданная Вагнеру душа решительно взбунтовалась против такого конца.

И вовсе не потому, что он кажется мне несправедливым или нежизненным. Я просто не принимаю того, что злыдни добились своего. Для врагов Эльзы и Лоэнгрина гибель несчастной девушки – вожделенный результат. Что из того, что они и сами погибают, но присмотришься к событиям оперы внимательно. Смерть Эльзы, возвращение Лоэнгрина в небесную обитель – это же конец всему. За совершившуюся несправедливость не с кого спросить, и нет никого, кто мог бы предъявить счёт участникам трагедии.

Жестокость мифологического сюжета, скажу больше, железная непоколебимость мне понятны, но согласиться с каменной неизменностью запрета – смертельной, как оказалось совсем скоро, – не намерен. Посуди сам, Саша. Разве можно допустить, чтобы благородный посланец небесной страны, полномочный представитель Грааля, заоблачной христианской твердыни, бросил на произвол судьбы спасённую невинную душу? Пусть совершила ошибку, оступилась, но ведь не по злому умыслу, по чистоте невинного сердца.

По русской традиции, любовь и прощение неразъединимы. У Лоэнгрина, кстати, действующего по воле Пославшего его, любовь – на пределе. Вот только милосердие – это уж как получится. Необязательность прощения вины... На этом споткнулся западного толка человек – Андрей Болконский: «Понять могу, простить – нет!» Прощать-то всё равно пришлось. На пороге вечной жизни вспомнил, что рождён в православной вере...

Мне, Саша, по жизни хорошо известно, что палача и жертву ждёт один конец. Рано или поздно жизнь окончательно рассчитается и с тем, и с другим. Задумайся, почему отец простил блудного сына – он прощён в христианстве. А примерный сын – работник, труженик, не скиталец, а семейный заботник – признан завистником, человеком, не вызывающим симпатии, в Святом Писании осуждён.

Эту долговременную нравственную задачу решить в одно мгновение невозможно. Разбираться, разумеется, стану, однако не желаю ничего оправдывать: ни волшебство, ни жестокость, ни высокомерие. Я закончил роман, о нём судить не мне. Тем более, что судейская коллегия – это все мои читатели. А мне ни судейская, ни адвокатская мантии – не по плечу. Тебе за письмо – спасибо. Оно помогло мне чётко определиться с понятиями вины, прощения, с христианской этикой и многим прочим.

Что же касается запрета, такая ситуация преграды существует в сказках многих народов. Возьми русские сказочные истории. «Аленький цветочек», «Финист – ясный сокол», «Хозяйка Медной горы», «Царевна-лягушка»... В русском сказочном наследии влюблённый, нарушивший запрет, совершает подвиги, чтобы обязательно исправить допущенную ошибку. Никогда не наказывают оступившегося любимого человека, тот, кто запрещал, не выносит приговор от собственного имени. Прокурор – не русский сказочный герой.

А вообще, дорогой Александр Филиппович, с какой стати мне вмешиваться и переделывать мифологию другого народа. Однако, промолчав, я высказал своё отношение к суровому, безжалостно-беспощадному приговору Лоэнгрин. Пожалуй, и великая вагнеровская музыка не может отменить чужеродность для русского мировосприятия приговора, вынесенного несостоявшимся правителем Бранбанта.

Но вообще, Саша, трагедия, «как сумасшедший, с бритвою в руке», шествует или крадёт по нашим следам. Мы ещё можем её отсрочить, но не предотвратить.

НИДЕРЛАНДСКАЯ ГЛАВА

Андрей Георгиевич Стержиков сидел в номере небольшой амстердамской гостиницы. Её название – «Париж» – позабавило приезжего. Но как бы там ни было, любой постоялец ощущал себя в центре Европы. В гостиничном одиночестве Стержиков вспоминал свою долгую жизнь. Давно не приходилось ему чувствовать себя столь покойно. Отодвинулись тревоги, отступили заботы.

Только чуть ли не поминутно названивал приставленный к писателю переводчик из посольства. Каждый раз, словно позабыв о том, что совсем недавно справлялся о настроении, о самочувствии приехавшего из Москвы человека, посольский служащий вновь принимался за подробные расспросы.

Поскольку назавтра Андрею Георгиевичу необходимо было явиться в правозащитное учреждение предельно бодрым, переводчик сообщил, что поздно вечером к Стержинову подойдёт медсестра, также из штата посольства.

«Она передаст вам лёгкое снотворное», – сказал переводчик. – Можете принять на ночь совершенно безбоязненно».

Когда медсестра вышла, Андрей Георгиевич проглотил круглую красную таблетку, даже не попробовав, что за снотворное он запивал водичкой. Слава Богу, что обошлось без укола.

Лёжа в постели – лёгкое снотворное действовать не торопилось, – Стержиков размышлял о том, за какие именно заслуги его позвали в Амстердам, пригласили в комиссию по правам человека, за что ему такая честь. К власти он относился довольно-таки безразлично, хотя порой мог высказаться весьма крепко, и его остроумные словечки вскоре повторяли и в Москве, и в провинции.

Несправедливости – безоговорочно отнесём к ним зависть и тюремно-лагерные скитания – терзали его и в юности, и в молодости, да и на старости лет подобные переживания не закончились. Но затащить его во что-нибудь либерально-антисоветское никому не удавалось.

От всего диссидентского морока и шабаша Андрей Георгиевич шарahalся, как чёрт от ладана.

Можно было только пожалеть сейчас, в центре Европы, что добрался он до мировой цивилизации сильно изработавшимся – «Укатали сивку – крутые горки». Наверное, не только потому не радовали его прекрасные, заманчиво-привлекательные приметы европейской бытовой реальности. Не приносили успокоения, примирения. Мечтать о Божьей благодати не приходилось.

Так ведь постаревшему Стержикову и не хотелось успокаиваться. Он побаивался, что забвение начнёт безжалостно стирать впечатления первой жизни. А на амстердамской почве обо всё думалось посвободнее, привольнее, здесь не стесняли оковы каждодневного московского бытия.

Откровенно говоря, Андрей Георгиевич знал, что никогда не сменит Отечества, которым наделил его Господь Бог. Иное дело, сохранившаяся с юных лет горячая любознательность и страсть к путешествиям. Эти качества душевно расковывали, освобождали, пусть жизнь далеко не всегда потакала младенчески-любопытному охотнику за впечатлениями.

Стержиков совершенно не опасался, что его квартиру прослушивают, не раскручивал подозрительно телефонный аппарат, не простукивал от потолка до пола домашние стены в поисках секретно спрятанного микрофона.

На запретные или сомнительные темы ни с кем не разговаривал, в мутно-скользкие беседы не впутывался. О чём его размышления, что задумывает, никому не было ведомо. К несчастью, дома свободно мыслить было затруднительнее.

Исполнилось два десятилетия, как Андрей Георгиевич стал степенным женатым человеком. Жена-казашка с рождения жила в том самом благословенном Яблоневоградском граде, выросла в достатке и холе, была любимицей большого круга потомственных интеллигентов, артистов и художников.

Карина полюбила Стержикова не с первого взгляда, что не помешало девушке из крепкой казахской семьи признать русского избранника неотразимым. Только потому и возрастная разница в три десятилетия не стала препятствием в создании семейного союза. Девушка готова была на любые жертвы из гордости и жалости к бывшему заключённому.

Такое безоглядное, фанатическое поклонение Андрею Георгиевичу, по мнению большинства друзей и знакомых, неразумное жертвенное поведение нельзя было объяснить иначе, как хроническим душевным заболеванием.

Ни для Стержикова, ни для Карины подобное отношение не являлось новостью. Подумаешь, редкость! В стране любой собеседник – под подозрением. Иной раз – совершенно справедливо. О, Стержикову такой поворот событий был известен лучше многих. Но как исправить опасное положение вещей, оставалось неизвестным. Приходилось мириться – такова была судьба человека, болеющего душой (не в больничном смысле) за психическое здоровье народа.

Девичье обожание Андрею Георгиевичу было не в новинку. Прошлое счастливо окрашено беззаветной любовью генеральской дочери Саши. Находились и прочие влюблённые в университетского преподавателя слушательницы шекспировского курса с сумасшедшинкой в глазах и в душе, этакие самоотверженные Джульетты из Яблоневограда.

Когда его арестовали последний раз, он пропал, можно сказать, без вести на восемь лет. Стержиков не писал писем девушке из Заречья, догадывался, что и Шурочка, покорна общему закону «с глаз долой, из сердца вон», не писала ему, да и не пыталась доискаться, в какие дальние края занесла немилосердная судьба боготворимого ею студенческого любимца. Немало вокруг пропало народу совершенно внезапно. Как раз сердцем Шурочка понимала, что, может быть, и пишет Андрей Георгиевич, да только какие здесь письма. Выражение «... без права переписки» неотменимым дамочковым проклятием повисло над всеми советскими людьми. О Стержикове-то она знала, что он вновь арестован. Забирали его от тёти Нюры; в присутствии доброй хозяйки и случилось печальное событие. Восьмилетняя отсидка ставила неодолимый предел всяческим отношениям.

Лагерные сроки истекли, тем не менее, Стержиков, узнавший, от той же тётушки Нюры, что Шуручка жива-здорова, замужем, и дети родились, решил на пепелище не возвращаться, даже для того, чтобы час-два посвятить воспоминаниям.

Стержиков не прекращал писательства, безмолвно сопротивляясь лагерной каторге, написал два романа, эти произведения он не смог сохранить в обстановке перебросок из одного лагеря в другой, внезапных обысков и наглого воровства. Здесь охранники и бандиты соревновались в жестокости, в страсти к унижению безвинных людей.

Третий роман, законченный в годы свободной жизни, Андрей Георгиевич вообще никому не читал и не предлагал к прочтению. Так бы и пропал без вести писатель Стержиков, никому не известный, никем не прочитанный. Не смирилась Карина. Во-первых, она положила начало гуманитарно-семейному обычаю – перед началом дня прочитывать вслух три-четыре страницы стержиковской прозы. А во-вторых, по праву любящей жены штурмовала одно за другим московские и провинциальные издательства. Эти крошечные писательские приюты Андрей Георгиевич называл «малолитражными». Роман напечатали. И теперь к нему никак нельзя было применить, даже в шутку, определение «неведомый шедевр». Шедевр не шедевр, пусть потомки, ближние и дальние, разбираются, зато безвестность кончилась.

А дальше Карина вдохновила поверившего в благословенные перемены мужа восстанавливать канувшие в лагерных передрыгах первые сюжеты, начальные характеры.

Жизнь мчалась вскачь и во весь опор, и пролетели годы и годы прежде, чем он – признанный прозаик, вернулся к первоначальным мукам слова, к забытым страницам первой прозы.

Нынче Стержикова признали... По отношению к его литературному имени все более часто приклеивалось определение-пропуск, своего рода литературно-паспортное клеймо – «известный русский писатель». И, поскольку, его лирико-философские произведения обходились без восторгов по поводу пересмотра эпохи культа личности, зато с честной строгостью воспроизводили малодоступные подробности казарменно-горьких сталинских лет, Андрея Георгиевича время от времени приглашали посетить кое-какие правозащитные мероприятия.

Те, кто приглашал «известного русского писателя», питали надежду, что придет мало того, что мученик режима и «узник совести», но литератор острого, памфлетного закала, могучий борец с закоренелым азиатским деспотизмом.

Напрасные упования... Ни разу не удалось заставить Стержикова плясать под чужую дудку. Так что на родине никогда не чинили ему, восстановленному во всех гражданских правах, никаких препятствий, но в Голландию он приехал впервые.

Как-то раз Андрею Георгиевичу позвонили из Иностранной комиссии Союза писателей и попросили срочно прийти в особняк на улице Воровского, чтобы оформить документы на выезд в Нидерланды. Кое-какие ведомственные кабинеты, конечно, были известны Стержикову, однако частым посетителем особняка, не в пример другим, не стал. Он всё больше со стороны улицы Герцена попадал в легендарный «Дом семейства Ростовых», его привлекал писательский ресторан...

Никакого почтения Андрей Георгиевич к «святому месту» не испытывал, и запросто, с чувством того, что всё для него трин-трава и море по колено, – ах, всё-таки излишне храбрился и бравировал отвагой неподчинённости весёлый «узник совести», – распахнул дверь приёмной председателя Иностранной комиссии.

Немолодая серебряно-седовласая дама, завидев Стержикова, царственно поднялась над просторным письменным столом с разноцветными телефонными

аппаратами и без промедления гостеприимно показала коротким жестом на дверь заветного кабинета.

Свободным, раскованным шагом Андрей Георгиевич прошёл к темно-коричневому кожаному креслу перед столом хозяина кабинета, чуть-чуть развязно погрузился в него и приготовился выслушивать напутственные наставления.

Впрочем, предостерегающих слов «на дорожку» не последовало.

Неразговорчивый хозяин, поразивший Стержикова смуглой, как бы напрочь отшлифованной и залакированной лысой головой, бросив на посетителя цепкий, подобный железной занозе взгляд, коротко-повелительно произнёс:

– Пройдите, Андрей Георгиевич, в наш спецотдел. Там вы получите заграничный паспорт, билет и командировочные... «за счёт приглашающей стороны», – загадочно подчеркнул председатель. – Вот вам записка в спецотдел, счастливого пути и благополучного возвращения.

– Как работать научились! – уважительно подумал Стержиков. – Прямо в стиле «Смерть бюрократизму!.. И всё-таки мне кажется, что где-то встречался с этой голый головой... Какая-то случайная встреча, или нет... Всё может быть.. Попадался где-то на дороге... Впрочем, что гадать: он же по-императорски лихо расчеркнулся на записке...

И Андрей Георгиевич на ходу, в коридоре, когда до двери спецотдела оставалось, как до смерти, четыре шага, развернул записку. Фамилия автора подписи в одно мгновение освежила память кандидата на зарубежную поездку. Без задержки вспомнились события давних лет, почти окончательно покинувшие память бывшего завлита Большого театра. Зазвучала не светло-небесная мелодия святого Грааля, а громоносный парадный туш; его сменила отчётливая барабанная дробь, грозно предвещающая смертельно опасный для жизни акробатический номер под высоким цирковым куполом.

Записка, полученная в Иностранной комиссии, заканчивалась казённо-каллиграфической подписью «Корвицкий». Так вот где довелось встретиться... Миновали годы, прошумели великие события... «Жив курилка» бывший следователь Корвицкий, жив и бывший подследственный Стержиков.

«На свете много есть чудес, Горацио, что и не снились нашим мудрецам!»

Андрей Георгиевич, протягивая записку миловидной девице, приветливо улыбающейся, когда он переступил порог спецотдела, заинтересованно спросил:

– А что, скажите, пожалуйста, в Союзе работают и приглашённые со стороны? Товарищ Корвицкий, например...

Спецотдельская красotka сухо отпарировала:

– Разве вы не знаете, Арсений Севастьянович – популярный автор детективов. У него около десяти романов вышло.

Стержиков встrepенулся и чуть-чуть не бросил отравленную, под прикрытием доброжелательной любознательности, реплику:

– Любопытно было бы узнать, кто написал для вашего Арсения Севастьяновича такие популярные романы?

К счастью, сработала «защита Стержикова», и новоявленный разоблачитель культа Корвицкого прикусил язык. Да и зачем ему знать, кого удалось завербовать в «литературные негры» другу и успешному последователю автора уголовно-приключенческих новелл Романа Шамбура.

Неожиданная информация вновь, как и в давнее время, утешила и развеселила. К тому же всемиловиднейшая судьба позволила и в некотором роде восторжествовать справедливости. По-цыгански косматая львиная грива Стержикова, неожиданного коллеги Корвицкого в романном ремесле, лишь слегка была посыпана

светло-сизым пеплом седины – страшная месть наголо облысевшему бывшему сотруднику НКВД.

Слегка замешкавшись, Андрей Георгиевич направился к двери. Посетителя догнал непривычно любезный девичий возглас:

– Андрей Георгиевич, подождите, возьмите, пожалуйста, приглашительный билет. Послезавтра в нашем кинозале премьера фильма по роману Корвицкого «Погоня за призраком».

* * *

...Как хорошо чувствовал себя Стержиков сейчас, в номере амстердамской гостиницы «Париж», когда передряги и перипетии минувших дней и лет отложены до возвращения в Москву, «благополучного возвращения», согласно высокочиновному пожеланию Корвицкого, старого знакомого... век бы его не видеть.

После того, как посольская медсестра, оставив на всякий случай телефон дежурного сотрудника, попрощалась и ушла, Андрей Георгиевич, к которому так и не явился неаккуратный волынщик Морфей, встал, погасил верхний свет, оставив гореть настольную лампу, закутался в пушистое гостиничное одеяло и барственно устроился в кресле.

За окном острые крыши старых голландских домов времён русского царя Питера, и эти неповторимые крыши, как и нескончаемые – каждое на особицу – окна, можно было рассматривать и изучать до бесконечности.

Одновременно, подобно широкой равнинной реке, медленно потекли воспоминания, чему, как обычно, способствовала кратковременная аскеза долгожданного одиночества. Обширный арсенал прошлого, отошедшее в вечность житьё-бытьё обыкновенно ничуть не тяготили Стержикова: звенья каждодневной цепи не оставляли времени на мемуарно-лирические отступления.

Вспоминалось многое... Который раз Андрей Георгиевич укорял себя, что никак не может просто, без особой, нарочитой цели сесть за машинку и писать, не придерживаясь заранее плана, вытаскивая наугад из закровов памяти всё, что сохранилось. «Как Бог на душу положит...» Бог не скупился, и Стержиков поражался, какие драгоценные крупинки прошедшего огромным навалом, колоссальными неразобранными грудями сохраняются в пока ещё просветлённом сознании.

Он сравнивал собственную жизнь с жизнью других людей, словно листал солидный том балетных и оперных либретто, начиная с биографии Карины. Андрей Георгиевич как бы конструировал одно жизнеописание за другим; припоминались подробности, казалось бы, полностью позабытые, казалось, вернуть их в настоящее – никакой возможности.

Так, подбирая деталь за деталью, иной раз вовсе не предназначавшуюся к обнародованию, чувствуя себя Пименом, равнодушно внимающим добру и злу, Стержиков выкладывал неповторимую мозаику чужого бытия.

Вокруг летописца без гусяного пера и пергамента бесплотными, призрачными тенями расположились Карина, его друзья-товарищи, с кем прихотливая судьба свела на лагерно-тюремной дистанции, отец и мать, сокурсники, ученики... «Все промелькнули перед нами, все побывали тут...»

Почти под занавес в сумбурное собрание воспоминаний неожиданно вторглись картины, фантомно запечатлевшие события, которых в действительности Стержиков знать не мог – только слухи да пересуды; остальное дорисовало воображение.

То был остросюжетный интеллектуально-скандальный детектив о пребывании во французской эмиграции писателя Вадима Миловича, по приезде поселивше-

гося вместе с полусумасшедшей женой в Париже. Перебирая в памяти сведения об эпатажной экстравагантности частично безумной супруги автора «Вокзального реквиема», Стержиков удовлетворённо признался самому себе: «Да моя-то Карина – образец душевного здоровья...»

Эта мысль подействовала надёжнее самого отборного снотворного...

ПРАВООЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Правозащитное толковище в городском кафе, как и предполагал эксперт-мемуарист, приглашённый из царства диктатуры и сокрытия истины, разочаровало Андрея Стержикова до последней пуговицы. Показуха и отбывание номера здесь свирепствовали вширь и вглубь.

Весьма символичной получилась картинка из жизни: закованный в джинсовые латы пухлощёкий молодой человек с недельной рыжей щетиной, пристроившись терпеливым наблюдателем в сторонке от сцены, прилежно отмечал на листке всё с той же фирменной правозащитной эмблемой отзвучавшие выступления.

Как видно, регистрационные «птички» здесь были ещё в большем употреблении, чем на многострадальной родине. Открыжил мероприятие, и с плеч долой. Стержиков понимал, что про «птички» – не очень справедливо, и всё-таки в полуха прислушивался к речам участников. Что-то нравилось ему больше, что-то меньше.

Интересные высказывания произносились о его романах. Теперь он старался не пропустить ни слова, правда, больше из уважения к тем, кто дал себе труд посвятить время чтению его прозы и сочинению о ней аналитического отзыва.

Андрей Георгиевич неприметно улыбнулся внезапной мысли: настоящие читатели и бескорыстные почитатели раньше сидели в служебных кабинетах, в ведомстве государственной безопасности. Вот бы послушало почтенное высокоучёное собрание следовательские откровения.

Беседовавшие со Стержиковым служители сверхсекретной Фемиды ценили ум и образные выражения подследственного. Он догадывался, что кое-какие допросные листы, вопреки прямому запрещению, следователи, да хотя бы тот же Корвицкий, оставляют себе на память. Снимают копии и оставляют...

Было бы занятно, держа под рукой те самые допросные листы, заглянуть в «популярные романы» Арсения Севастьяновича. Его ленинградский друг и наставник Роман Шамбур не брезговал пользоваться архивными папками при сочинении собственной криминально-увлекательной беллетристики.

...Ведущий собрания, тот самый, что представлял Андрея Георгиевича в самом начале встречи, пригласил гостя на сцену.

– Пожалуйста, вопросы...

– Вы столько претерпели... Конечно, о многом даже не упоминаете в своих книгах и выступлениях. Вы обижены на советскую власть, вообще на жизнь, она ведь вас сильно обделила?

– Такие переживания никогда не были мне близки. Моя незавидная судьба, каждым днём которой я дорожу без притворства и кокетства, испытана очень многими. Там, где мой народ, к несчастью, был, мне посчастливилось узнать замечательных людей, редкой образованности и чистопородной нравственности. С ними, кого Бог сохранил до нынешнего дня, не расстанусь, а мёртвых – помню... Никого не забываю... На пережитое жаловаться не приходится...

Через мимолётную паузу Андрей Георгиевич со сдержанной горечью прибавил:

– У меня теперь даже зубы есть...

Правозащитный переводчик последнюю фразу сократил и замолчал. Из зала немедленно последовал раздражённый возглас английской журналистки:

– Вы не перевели цитату из песни Александра Галича.

Недовольный переводчик без особого старания, что называется, с зубовным скрежетом, сообщил, что у «известного русского писателя», прибывшего в Амстердам, в настоящее время с зубами всё в порядке. Правда, огненно-мстительный взгляд переводчика, уличённого в самовольном цензурном изъятии, почему-то достался Стержикову.

Впрочем, такие злобные молнии Андрею Георгиевичу страшны не были. Чёрт с ними со всеми, с недоброжелателями, намеренными или случайными: ему самому необходимо было вернуться к вчерашним воспоминаниям и размышлениям. Подбить итоги не мешает в любом возрасте, а в его далеко не юношеские годы сам Бог велел.

Так что поскорей бы откланяться и вернуться в гостиницу: обдумывать и осмысливать – в Москве, чтобы справиться с итоговыми результатами, свободного времени в обрез.

Пока Стержиков, почётный гость «Узников», занимался представлением русских каторжников (тема, ему досконально известная), в домашней обстановке возвращения Андрея Георгиевича дожидался странный, нетрадиционный роман «Корабль королей». Страницы в рукописи прибавлялись неспешно, многие годы она оставалась незаконченной. Большая часть строящегося «Корабля» была опубликована. Однако всё это отрывки, фрагменты, отдельные главы.

Живучий, неумирающий роман оставался для Стержикова дороже всего, дороже детей, можно было бы сказать, однако детей Андрей Георгиевич, как и некоторые другие каторжане, к его большой печали, так и не обрёл. Зато с ним не расставались «корабельные» герои.

По ночам они присаживались на край его постели, и сочинителю было о чём поговорить с выдуманными персонажами. Это были самые желанные, самые умные и самые понятливые собеседники.

Погружённый в ностальгические размышления Стержиков благодарно вспоминал о Полонском. Именно в единственном на свете доме сосланного в Яблоневоград интеллектуала сохранилась уменьшенная копия картины Антона Евгеньева, ленинградского живописца, умершего голодной смертью в первую же блокадную зиму.

Полонский, словно средневековый рыцарь короля Артура, неотлучно оберегающий чашу святого Грааля, отклонял любые посягательства на «Корабль»... Королевская мистическая защита подействовала...

Да... сохранившийся «Корабль королей»...

Волшебство смелой, независимой живописи... Стержиков видел себя юнгой, матросом, боцманом, штурвальным, парусным мастером, наконец, старшим помощником капитана. Вот только на капитанском мостике он себя не видел... Правда, при таком капитане каждый матрос чувствовал себя королём. Этот корабельный властитель никому бы не позволил притеснять бессмертную душу любого сотоварища по команде.

Бессмертная душа неприкасаема!

Заодно вспоминалась и довоенная самовольно-авантюрная поездка в Москву, и «Валькирия» Вагнера-Эйзенштейна. Что из того, что за неповторимую встречу с оперой из великого цикла «Кольцо нибелунга» пришлось расплатиться лишением свободы!

Стержиков ни о чём не жалел: понимал, что «Корабль королей», на котором он поплыл во все четыре стороны света, и есть его настоящая родина, его единственная и неповторимая жизнь. И если Андрей Георгиевич не самостоятельно её выбрал, то по долгу перед нею, перед её простыми или сложными людьми, серьёзный пожизненный выбор приходилось признавать добровольным.

И никакие словесные упражнения самой повышенной сложности, противостоящие выбору Стержикова, не отменяли театрального действия, в котором по мере возможности стремился жить романтически настроенный сын известного психиатра.

Андрей Георгиевич никак не мог смириться с тем, что из создателя «Тангейзера» и «Нюрнбергских мейстерзингеров» нацистские идеологи, злодейски ведомые мастером иезуитской пропаганды Геббельсом, сотворили выдающегося поклонника фюрера, притворившись, что гений Вагнера был заранее предназначен к прославлению персоны номер один в фашистском паноптикуме.

Отделить Вагнера от Эйзенштейна у Стержикова не получалось: композитор и режиссёр оказались призванными на служение реваншистским войскам вермахта.

Неспроста скрипела гора «Валькирии» в спектакле Большого театра, скрипела и заглушала звуки музыки и певческие голоса. Это непредусмотренное скрипение оправдывало невольников всеохватного действия, распространившегося на весь огромный земной корабль – СССР. Однако этот корабль никуда не мог плыть по причине невероятных размеров: к тому же совершенно отсутствовали бушующие волны: в наличии имелся лишь вечный штиль.

О, сухопутный, неподвластный гибельному океану «Титаник» с исключительно королевским экипажем на борту!

За окном давно стемнело, погасли окна домов, что напротив гостиницы, кое-какие здания украсила по-европейски изящная подсветка.

Стержикову пришло в голову, что поздним амстердамским вечером его воспоминания также как бы снабжены дополнительным освещением.

Почувствовав, что мир снизошёл на его мятежную душу («Спустись к нам, тихий вечер!»), смиренный путешественник Стержиков прилёг на простыни, само собой классического голландского полотна, и вскоре заснул в обнимку с самыми приятными воспоминаниями детской и юношеской поры.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ГОСТЬ ИЗ ПРАГИ

На другое утро, когда Андрей Георгиевич после завтрака возвратился в номер, прозвучали негромкие певучие телефонные сигналы – оглушительный трезвон, как в пожарном депо, в европейских гостиницах не приветствуется. Звонил администратор. Он вежливо попросил разрешения соединить Стержикова с человеком, пришедшим в гостиницу.

Андрей Георгиевич с ответной вежливостью позволил передать трубку...

– Доброе утро, – приветствовал Стержикова незримый посетитель. – Простите, что я воспользовался вашим приездом в Амстердам. Мы могли вчера увидеться... Меня также приглашали на эту встречу... К сожалению, задержался пражский рейс...

– Поднимитесь, пожалуйста, ко мне в номер...

Через несколько минут Андрей Георгиевич встречал нежданного гостя.

– Я – Иван Савицкий, сын Петра Николаевича Савицкого. Вам известно имя моего отца?

– Имя, действительно, знакомо. О Савицком рассказывал мне в пересыльной тюрьме любитель-пушкинист Раевский... Они, по-моему, одновременно оказались в Праге... Точно не знаю. Чем могу быть полезен?

– Пётр Николаевич – один из лидеров евразийского движения. К евразийцам в Советском Союзе относились с большим подозрением. Когда в 1945 году в Прагу вошли советские войска, отца арестовали, отправили в лагерь, судьба отцовского архива долгие годы остаётся неизвестной. Отец завещал по ослаблении режима когда отношение к евразийцам переменится к лучшему, попытаться найти хотя бы часть его рукописного наследия. Отец придавал очень большое значение своим размышлениям о русской религиозной философии, воспоминаниям о выдающихся евразийцах... Он не хотел, чтобы пропали труды, созданные в эмиграции...

– Ваши заботы понятны. Можно только посочувствовать, что я с большой охотой и делаю. Но я-то – писатель, гуманитарий-одиночка... Никакой властью – ни розыскной, ни издательской – не обладаю. Какая от меня помощь? Только повздыхать вместе с вами да с сожалением покачать головой...

– Нет, нет, не преуменьшайте силы слова, вашего, в том числе... Романы и эссеистика Андрея Стержикова известны и признаны не только в Советском Союзе. Ваше имя авторитетно. Мне подумалось – статья на данную тему за вашей подписью или, на крайний случай, ваше интервью со мной помогли бы... И мне было бы легче продолжить старания по публикации архива «пражского евразийца»... Так к нему обращался один из его корреспондентов, Лев Николаевич Гумилёв...

– Да, да, сын расстрелянного Николая Гумилёва...

– И Анны Ахматовой...

– Верно... Иван Петрович, прошу меня простить – мне пора собираться... Машина от «Узников» пришла... Опаздывать негоже – европейцы не только пунктуальны, но и обидчивы... Это в Испании можно опоздать хоть на неделю – никто не заметит... Поскольку вы тоже пленник «Узников совести», присоединяйтесь ко мне, поедем вместе...

Из номера собеседники вышли вдвоём, однако добраться до машины в том же составе не удалось: корреспондентка радиостанции «Немецкая волна» перед выходом из гостиницы полицейским бульдогом вцепилась в русского писателя:

– Несколько конфиденциальных вопросов, – зашпешила вооружённая диктофоном журналистка, стараясь не отставать от Стержикова и его спутника.

– Нет, – решительно отклонил внезапное нападение Андрей Георгиевич. – Здесь не место – поговорить нормально не сможем... Поезжайте в гостиницу «Серебряные коньки»... Наши мероприятия – в Зеркальном зале... Там встретимся, там же и решим, как нам поступить.

...Через полчаса чёрный правозащитный лимузин и карминно-кофейная малолитражка с эмблемой «Немецкой волны» друг за другом замерли на берегу канала, неподалёку от карусельно вертящихся дверей многозвёздного отеля «Серебряные коньки».

Стержиков вручил Савицкому брошюру с программой и прибавил, что подойдёт минут через пятнадцать-двадцать, переговорив с сотрудницей радиостанции.

– Садитесь где-то в последних рядах... Скоро освобожусь. Надеюсь, что дама никаких оригинальных вопросов не сочинила. Это – обыкновеннейшая стандартная обязаловка, набор, как под копирку...

Андрей Георгиевич не стал придерживаться привычного при таких журналистских расспросах нейтрально-обыденного тона и с места в карьер, поглядывая на никелированную облицовку диктофона, проговорил импровизированную речь:

– Мы с вами, – он с холодной любезностью посмотрел на журналистку, – разговариваем сейчас с глазу на глаз. Иными словами, не для протокола и не для чужих

ушей. Для начала выскажусь откровенно – вопросы после... Если останется время и возникнет желание.

Я бесконечно люблю родину, Россию. Откровенно говоря, всесветной русской культурой, мощно принимающей и равноправно вмещающей остальные великие культурные феномены, восторгаюсь. Моего поклонения не могут затмить беды, горести, печальнейшие события, случившиеся в истории моего отечества... Они известны, истинно русская душа с ними смириться не в состоянии... Над своими романами я работал, как народный целитель, добрый знаток, собирающий лечебные травы... чтобы мои книги врачевали... И все упрёки в нарочитой благодности, в сокрытии жестокостей мира я отвергаю... Мне, верному служителю писательского долга перед теми, кто раскрывает мои книги, лучше известно, каким лекарственным снадобьем потчевать душевные недуги. Сюжеты моих книг – действенные рецепты на полях диагностических карт. Я не только хронист, но, скорее, Парацельс, если позволите прибегнуть к такому сравнению...

– Однако ваши слова – человека мученической судьбы, своего рода страдальца, имеющего право на отдельные льготы, снисхождение государства...

– Никак нет, не соглашусь. Было бы непростительным предательством всех моих соотечественников – ведь каждого, каждого так или иначе коснулась беда – вымалывать у властей нечто особенное, лично для себя, любимого...

– Но все ваши объяснения – цепь иносказаний... В ваших романах вообще много зашифрованного...

– А в романе Сервантеса – разве не цепь иносказаний, и в «Братьях Карамазовых» – только убийство отца незаконнорождённым сыном? А разве в «Божественной комедии» вам всё ясно и понятно? Да и тайна шекспировских трагедий неужели перестала быть тайной? Сочинивший Гамлета и Фальстафа, кто он, второразрядный актёр или высокообразованный граф Ретленд?

По лицу немецкой журналистки можно было прочесть почти шекспировское: «Что мне граф Ретленд, что я графу Ретленду», – однако матёрую волчицу западного медиамира голыми руками не возьмёшь:

– Как же вы сами относитесь к подобной версии?

– Она не имеет никакого юридического значения для гения, создавшего Джульетту и леди Макбет. Скажу вам больше – писатель без загадки, без сложной системы шифра, который никому не дано расшифровать до конца, вообще не писатель, а поставщик одноразовой пустоголовой тягомотины – простите за резкость. И... ещё раз прошу прощения, невежливо отсутствовать, когда тебя столь любезно вызвали из столицы медвежьего царства. Извините великодушно...

Из отеля «Серебряные коньки» Андрей Георгиевич возвратился в гостиницу. Он торопился, поскольку долгие монологи на общественные темы, навсегда утомили его ещё в университетские годы. Пообещав молодому Савицкому непременно и действительно воспользоваться евразийскими материалами, которые Иван Петрович пришлёт в Москву, Стержиков распрощался с ним на пороге «Парижа».

ЧАСТНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Всё-таки мечты об отдыхе в гостиничном одиночестве не сбылись. На ре-сепшн писателю вручили стопку визитных карточек и приглашение в частную художественную галерею. Администратор также подал листок с записанными телефонными номерами людей, желавших непременно переговорить с москов-

ским писателем. Андрей Георгиевич попросил на все дальнейшие звонки отвечать деликатным отказом.

«Отказывать, отказывать... Иначе стану совсем похож на госпожу Шарлотту Кестнер, к которой началось паломничество, когда она приехала в Веймар на свидание со своей молодостью, со стариком Гёте... Хорошо, что хоть в Москве не пользуюсь такой обременительной известностью».

Стержиков развернул приглашение. Название галереи заставило призадуматься: «Синие кони».

«Вызовите, пожалуйста, такси... Запишите адрес галереи и телефон. Вам должно быть известно, где ваш постоялец и что с ним...» Андрей Георгиевич не стал вспоминать вслух, что в Иностранной комиссии советовали – ни с кем, кроме официальных лиц, не общаться, не вступать в неосторожные, непродуманные отношения.

Администратор не сказал ни слова, тем не менее, взяв на минуту билет, раскрыл ежедневник в кожаном переплёте. Записав координаты художественного собрания, он вызвал такси.

Когда водитель заметил на первом этаже прямоугольник с названием «Синие кони», он остановил машину.

...Навстречу Андрею Георгиевичу вышел очень молодой человек в модном кожаном сюртуке. Показывая частную коллекцию – она располагалась в четырёх просторных комнатах – молодой человек, назвавшийся Паулем и её владельцем, общался с гостем на немецком языке.

Работ, графических и живописных, находилось здесь немного, зато повсюду отчётливо чувствовались вкус и мера Пауля при создании интерьера «Синих коней». Стержиков представился и передал молодому человеку визитку на русском и английском языках (хорошо, что Иностранная комиссия, отправляя московского писателя в зарубежную поездку, позаботилась о такой важной мелочи).

– Вы пока знакомьтесь с галереей, – с вышколенно-деликатным гостеприимством пригласил посетителя Пауль. – Я присоединюсь к вам чуть позже. Постараюсь освободиться пораньше... Чувствуйте себя свободно...

Андрею Георгиевичу подобный призыв показался излишним. Откровенно говоря, его обрадовало отсутствие Пауля, хотя он заметил видеокамеры в каждом зале: прогулка по музею, в какой бы части света он ни находился, для писателя – событие, которому необходимо одиночество. Стержиков неторопливо осматривался, переходя из одного зала в другой. Пауль постарался приуменьшить стандартно холодноватую музейность, когда между представленными работами и зрителем пролегает незримая граница, словно предохранительный шнур, не позволяющий приблизиться к Джоконде или мемориальному кабинету Льва Толстого.

А «Синие кони» стремились прибавить в осмотр галерейной экспозиции нечто домашнее, уменьшить отстранённость экспоната от смотрящего на музейный предмет человека. И душа Стержикова, его эстетическое чувство (скорее всего, это одно и то же) не могли не возрадоваться, почувствовав, что галерея – место праздничного события, здесь не проходишь обыкновенным зрителем, нет, здесь ты появляешься, как в родной обители, и не важно, какой срок прошёл после последнего возвращения.

В маленьких залах «Синих коней» можно было увидеть уголок мастерской художника: мольберт с холстом, не покрашенным до конца, в желобке – старинный мастихин, чтобы удалять нечаянно или напрасно положенную краску, а на квадратном столике, прикрепленном к мольберту, многоцветную палитру, прихотливо запятнанную киноварью или берлинской лазурью... Как было не вспомнить драгоценную утеху детства – калейдоскоп!

Андрей Георгиевич уже приступил к сочинению гимна вдохновенной игрушке ранних лет, как послышался голос возвратившегося Пауля:

– Надеюсь, вы не соскучились, господин Стержиков...

– Нет, нет, что вы, мне очень нравится ваш домашний... именно домашний музей.

– Хорошо. Может быть, пройдем в последний зал? Оставить такого гостя, как вы без сопровождения – несомненный урон для репутации «Синих коней»... Представленные произведения достались мне в наследство от деда – искусствоведа и коллекционера. Очень скромное наследство – наброски, эскизы, штудии в натурном классе... Правда, имеется несколько картин больших мастеров. Дедушка предпочитал импрессионистов. Ему пришлось спешно бежать из Германии в 1937 году, повезло добраться до Нидерландов. Правда, его и здесь в 1940 году преследовали оккупационные власти. От дедушки потребовали составить перечень ценнейших голландских мастеров для того, чтобы проверить местные музеи на предмет реквизиции. Предлагали работать искусствоведам для пользы рейха.

– Обычная практика для оккупантов – вербовать предателей...

– Именно так и было, – не очень радостно подтвердил Пауль. – Дедушка отказался... заплатил за отказ многими обысками и постоянным надзором... Он так и не открыл, где были спрятаны картины. Завещал наследникам сохранить собранные произведения.

Гость и хозяин теперь стояли и смотрели на одну картину. Художник бесспорно являлся талантливым мастером, поклонником экспрессионизма.

– «Башня синих лошадей», – почти шёпотом, словно страхась, что чудное видение превратится в мимолётное, произнёс Стержиков. – Но ведь она пропала...

– Действительно, она пропала с выставки «Дегенеративное искусство» в том же году, когда дедушка бежал из Германии. Дата рождения автора, Франца Марка, известна – 1880 год, а скончался он в 1916 от ран первой мировой войны. В дегенеративные художники попал через 21 год после смерти. Эти лошади присутствуют и на галерейной вывеске, и на обложке каталога нашего скромного собрания... И наше название «Синие кони» – в честь «Башни синих лошадей»...

– ...и «Синего всадника» Кандинского...

– Само собой. Кандинский и Марк – товарищи по одноименному объединению. Но я не скажу с полной уверенностью, что наша «Башня» – подлинник и принадлежит кисти Франца Марка. Работа пока не прошла высококвалифицированную экспертизу. Подобные проверки на подлинность – это серьёзные затраты. Но мы с женой не теряем надежды – мы оба учимся на искусствоведческом отделении университета – постепенно приблизиться к истине. Знаете, пропала ведь не одна только «Башня». После путешествия выставки отверженных по Германии министерство пропаганды объявило, что тысяча картин, названных «дегенеративными», вместе с огромным количеством эскизов, набросков, почти законченных произведений, сожжены на железнодорожном вокзале Берлина...

– Огнепоклонники нашлись... Костры из шедевров... Первая репетиция – рейхстаг. Нет, чтобы в нём Гитлеру сгореть... Вторая огненная репетиция – книги... – Стержиков не сдержался и проговорил несколько слов по-русски.

Пауль вопросительно посмотрел на собеседника.

– Непереводаемая игра слов, – хладнокровно объяснил Стержиков. – Я вам потом смысл перескажу. По-немецки звучит лексически чуть-чуть иначе, чем на русском языке. Значит, с вокзала в вечность отправились не картины, но «прах и пепел...»

– Вы заметили точно. Дедушка как-то в сердцах воскликнул, припомнив подобные пожары в мировой истории, начиная с гибели Александрийской библиотеки...

– Скорее всего, знаковое предание огню не обошлось без вагнеровской мистериальной музыки клинка и пламени...

– Нацисты – геростраты XX-го века, в Германии бросили в огонь европейскую цивилизацию. Картины сжигали на вокзале «Гёрлицер Банхоф» К слову сказать, дедушка полагал: не все произведения опальных живописцев были сожжены, часть, так сказать, менее «дегенеративную», прибрали к рукам разные партийные функционеры... Иногда припрятанное показывается то на одном, то на другом арттринке или аукционе...

Стержиков тотчас припомнил сорочинскую красную свитку.

– Конечно, Пауль, выставка «проклятых» права на каталог, на открытки и репродукции не получила. Однако, наверняка, в нацистских архивах – ведь немцы, хоть при кайзере, хоть при фюрере – такие аккуратисты и педанты – сохранились какие-либо отчёты, донесения... За посетителями наблюдали... Наконец, остались и живые свидетели...

– Ваша правота несомненна, господин Стержиков, потому мы с женой – будущие искусствоведы. Что же касается вашего выражения «прах и пепел»...

– Позвольте, Пауль, вернуть авторство библейскому пророку Иеремии...

– Моя любимая книга – роман Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигеле». Меня с детских лет навсегда покорила клятва Уленшпигеля: «Пепел Клааса стучит в моём сердце!» Вы не станете возражать, господин Стержиков, если мы с вами вместе поклянёмся «Гёрлицкий пепел стучит в моём сердце!»

– Как можно возражать!.. Сейчас добавлю, что ваш замечательный дедушка мог бы гордиться столь благородным и самоотверженным внуком. И мне было очень приятно, что лошади необыкновенного цвета, лошади моей юности – частица моей жизни, моей давней привязанности... Памятная с давних пор «Башня синих лошадей»... С легендой об этой картине, в душе моей соединилось знаменитое «Купание красного коня»... Разноцветные кони детства... Символика, дорогой Пауль...

– Заранее благодарю вас, господин Стержиков... Полагаю, что знакомство с галереей «Синие кони» из Амстердама также станет дорогой вашему сердцу частицей жизни...

– Конечно...

Из дальнего помещения донёсся телефонный звонок. Пауль извинился и вновь оставил Андрея Георгиевича одного. Стержикова обрадовала внезапная возможность напоследок побыть наедине с «Башней синих лошадей» Франца Марка.

Пауль не торопился возвращаться, и Стержиков, бросив последний взгляд, пошёл к выходу. Подзадержавшийся владелец «Синих коней» встретил его на выходе и проводил до машины и даже придержал дверцу открытой.

Андрей Георгиевич похвалил себя за то, что не попросил разрешения сфотографировать легендарную с молодости картину. Самопохвала оказалась с горчинкой, потому что перед внутренним взором Стержикова возникла стопка галерейных каталогов, лежащая на овальной лакированной столешнице около входа. «Мог бы взять на память... И Пауль, наверное, обиделся: «Я, дескать, к вам со всей душой, а вы даже небольшим сувенирным предметом пренебрегли».

На ресепшн в утро отъезда Андрея Георгиевича из Амстердама администратор передал покидающему гостиницу постояльцу два конверта – один с фирменной эмблемой галереи «Синие кони», другой – от благотворительного фонда «Узники совести». Оба конверта – с сюрпризами. «Синие кони» прислали не один каталог, а два – второй оказался каталогом берлинской выставки 1937 года – «Дегенеративное искусство». Его, разумеется, издали подпольно. «Такие подарки надо присылать вместе с нитроглицерином», – подумал вконец поражённый Стержиков.

А во втором конверте вместе с благодарственным письмом от «Узников» лежала квитанция на получение компьютера. Стержиков здесь же взял открытки с фирменным знаком гостиницы и написал благодарственные слова Паулю и «Узникам совести». Предложил оплатить доставку, но портье заверил его, что эта услуга входит в обслуживание гостей.

ДОМОЙ! ДОМОЙ!

...Прекрасный зарубежный подарок остался для Андрея Георгиевича вещью в себе, механизмом повышенной сложности, что ему не по зубам. Зато образцово преданная Карина, которой Стержиков верил беззаветно, великолепно разобралась с компьютером, словно это школьная ручка и чернильница. Работала на нём Карина с фанатическим упорством. Чуть больше, чем за год, привела в образцовый порядок стержиковские рукописи. А они знаменательно напоминали неразборчивые манускрипты Льва Толстого: каждая машинописная страница была со всех сторон и внутри текста исписана до предела. Многогранная работа позволяла Карине чувствовать мужа-писателя её полной собственностью. Это настоящая любовь!

Конечно, Андрей Георгиевич не смог бы без помощи Карины подготовить к печати три романа, четыре повести, сборник рассказов и эссе. Они составили пять томов.

О немедленном издании приходилось только мечтать. Но тексты пребывали в образцовой готовности и выстроились в своеобразную нехронологическую очередь. А вот это обстоятельство совершенно не беспокоило Стержикова. Благо, в Москве и провинции немало альманахов, журналов и сборников. Он завоевал авторитет, теперь его признали серьёзным писателем, чему Андрей Георгиевич порядком удивлялся. Притом, он без какого-либо тщеславного намерения рассчитывал поставить на первой странице желанного пятитомника посвящение отцу и матери. Благородная обязанность прославившегося сына...

Родители не дожили до победных дней сыновнего торжества.

Сотрудники ленинградского Института мозга рассказали Стержикову, что его отец скончался в первую же блокадную зиму. Тогда же не стало Антона Евгеньева. Лицо автора непревзойдённого «Корабля королей» вспоминалось смутно, и Андрей Георгиевич чувствовал, что Стержиков-старший и Антон Евгеньев с иконописно аскетическим лицом как бы один человек, такое состоялось двойное отцовство.

Мать умерла в Куйбышеве, в эвакуации, почти одновременно с отцом. Для Стержикова, в его воображении, родители так и остались не расставшимися, а соединёнными смертью, наподобие святых Петра и Февронии. Это пронзительное древнерусское житие Андрей Георгиевич прочитал в ранней юности, и оно бессмертной иконой закрепилось в памяти.

Нет, поистине ему, согласно небесному предуказанию, досталась редкая судьба – судьба счастливого человека...

Стержиков – дальнему другу

Дорогой Саша! Последнее время у меня не получалось подать о себе хоть какую-нибудь весточку, самую что ни на есть дежурную... Дружескую отписку... Мол, прости, пора кончать роман. Все тот же непотопляемый «Корабль королей». Как его не поглотила безразмерная пучина вечности, не ведаю... Давно ему пора

там быть... Дескать, поставлю точку, соберусь с силами, и тогда получит верный друг эпистола «песен в двадцать пять»... Но отвлечься, отодвинуть рукопись в сторону, было выше моих сил.

Вот только теперь поставил точку. Деловая умница Карина, великий компьютерный грамотей (в Амстердаме мне подарили компьютер с приложением принтера; для меня дорогие европейские подарки – китайская грамота), не мне, бывшему молодому щенку, а ныне старому псу, чета, перепечатала. Иными словами, позаботилась, чтобы все тексты собрания сочинений попали на те носители, на какие положено. Превратила, одним словом, мужнино творчество в предмет купли-продажи, поскольку классическое разрешение получено («... но можно рукопись продать...») и занялась публичной судьбой многотомника.

Несколько дней я всё вспоминал Пушкина... Готов был не кричать, конечно, во весь голос «Ай, да Стержиков! Ай, да сукин сын!». Только шёпотом, тихим шёпотом, но, положила руку на сердце, питаю надежду, что частица пушкинского начала теплится в «Корабле королей». Впрочем, в моём возрасте надежды и действительность как-то разошлись. Горько, зато правдиво...

Правда, Карина убедительно объясняет, что моя судьба сложилась. Всё могло произойти в варианте намного более худшем. А и то!.. Кто бы сомневался...

Так вот, Саша, предыдущие строки – присказка, а сказка – страшная сказка, приготовься – впереди.

Как-то возвращаюсь домой из гостей... издалека возвращаюсь... Припозднил-ся... Темнота; вышел из метро, сел в автобус. До моего дома три остановки... И не обратил внимания, что за мной направились два парня... Пренебрёг лагерной выучкой... Народу не так и много. Сел на свободное место. А один из парней пристроился за моей спиной... Кого-то согнал, причём. Вот второй-то встал впритык ко мне... И – пожалуйста, передвижной театр трёх актёров. Тот, что сзади, заорал притворно-припадочным голосом матерные присловья, и крепко саданул меня кулаком в ухо. Первый – в нецензурщине не отстал и, будто матёрый ресторанный вышибала вместе с напарником выволок меня в проход. Я и опомниться не успел в узком месте, как меня стали обрабатывать в четыре кулака... Хорошо, что не свалился... На полу мне бы смерть пришла... Ботинки-то я заметил, какие... Армейские, десантные... Может, и подковы имелись. Не разглядел... Бандюги вопят, меня к выходу волокут, в азарт вошли весёлые ребятишки, публика автобусная голосит: «Милиция, милиция...» Чёртов водитель что-то сообразил, врубил тормоз так, словно мы с разбега в стенку уткнулись, вышел, пошёл к дверям – проверять, остался ли пассажир в живых или самое время «скорую» вызывать... хоть не в мертвецкую тащить... Первый незнакомец засунул пальцы – такими подковы ломать – между половинками дверей, чуть не сломав, а мне достался прощальный привет от инкогнито, конвоировавшего меня к выходу. Теперь от всей души шархнул не в ухо, из которого текла кровь, а в зубы. От вставной челюсти остались во рту одни осколки... Ну, что ж, Саша, выбитые зубы – ведь это зло не столь большой руки... Починился... Присутствовавшие сочувствовали, советовали в милицию обращаться, листки с телефонами вручали: дескать, в свидетели готовы отправиться... Спасибо, разумеется... Но кто же не знает, что бесполезны все эти телодвижения...

Тем не менее, наивный, гуманный выше крыши российский народ не исправим, а его писательская братия, так, в особенности... Всё норювим на распятие взгромоздиться и собственными руками себя к кресту надёжнее пригвоздить... Что касается меня, так я в означенном смысле – редкий Иванушка-дурачок... Ох, дорого мне обходится вера в доброе мироустройство.

Одно время грубо влезла в сознание неприличная, немужская мысль – без Карины не выходить из дома. Конечно, выходил, только старался – при свете дня... Обходился без сопровождающего лица... Автобусное избиение... как тебе сказать?... Потеряло крупноразмерность, что ли... Жене, слава Богу, она была у матери в Яблоневограде и прилетела через два дня, само собой, рассказал; постарался не делать из досадного события культа... Если бы не синяки и зубы, может быть, и скрыл бы от неё это происшествие с увечьем.

Знаешь, Карина встревожилась ещё и потому, что произошло несколько странных происшествий... Со смертельным исходом... Кого-то зарезали в подворотне, кого-то пристукнули чем-то тяжёлым в толпе на стадионе, и никто ничего не заметил... Сочинителей летальных финалов найти не удалось... Ещё когда вернулся из Нидерландов, увидел в Союзе писателей траурное извещение с портретом моего первого следователя. Покойник работал председателем Иностранной комиссии. Знали его также успешным литератором: чуть ли не дюжиной детективных романов одарил отечественную словесность. Написали – «трагически погиб». Позднее узнал, что старого знакомого сбила машина во дворе высотного дома на Кутузовском проспекте. Там проживал покойник. Виновного, понятное дело, не нашли, злого умысла не углядели.

Возможно, пришёл мой час...

Остросюжетный сериал продолжается... Читай дальше... Торопился в ЦДЛ на просмотр третьей серии «Крёстного отца»... Карина намеревалась прийти пораньше, чтобы заранее занять места в кинозале. Но мы не встретились, как договорились. И «Крёстного отца» придётся смотреть в другой раз... Коли получится...

Забегал на минутку в предбанник цэдэловского ресторана, чтобы за буфетной стойкой подбодрить себя рюмкой коньяка. Перед тем, как направиться в зал, надо было снять плащ. Заторопился. Оставалось только хлопнуть рюмку, по дороге забросить плащ в гардероб и невозбранно поспешить на свидание с Кариной и Доном Корлеоне.

Некто – лица не разглядел, голоса незнакомец не подал – со спины крепко взялся обеими лапами за мой плащ и приспустил оба рукава до локтя... Чтобы не мог рук поднять... От такой бандитской повадки сердце, словно щипцами зажали. Здесь подскочил второй товарищ... Не говоря худого слова, с разбега вкатил твоему другу, дураку-тугодуму, страшный удар в печень. Падая со скованными руками и теряя сознание, подумал: «Сейчас кровь хлынет изо рта, и поминай, как звали»...

Отвезли в Склифосовского. И вправду, с сильным внутренним кровотечением... При полном осмотре обнаружилось, что к моему брэнному телу добавочно с палаческой лютостью приложились чужие кулаки... Я весь в капитальных синяках и кровоподтёках...

Саша, дорогой ты мой, не дилетанты действовали – убийцы, профессионалы, проверенные специалисты. Приходили они за моей жизнью. На безлюдной улице она бы им досталась. Но вот незадача: живуч оказался...

Кстати, обрабатывали меня любезные бессребреники: не пропали ни деньги, ни ключи.

Карина прибежала через минуту, расслышала пронзительный женский крик: – Что вы делаете?! Это – Андрюша Стержиков!

Застала меня почти бездыханного. Оставляя меня одного в клинике Карина не захотела. Осталась дежурить. Никто не осмелился ей возражать. Отмыла, отстирала, привела супруга, привыкшего к разным неожиданностям в своей жизни, в божеский вид.

Будем жить...

Теперь, Саша, – просьба. Позволь оставить тебе некоторую часть моего имущества. Как ты понимаешь, мало ли что может произойти. О том, как распорядиться в дальнейшем тем, что будет под твоим присмотром, оставляю подробную инструкцию. Я старался не позабыть ни о своих желаниях, ни о своих долгах.

Так что, в случае чего – Карина данную инструкцию тебе передаст, и только тебе, железному мужику, мореплавателю, путешественнику, другу, человеку чести и честности, доверяю отдать мои долги за хорошо прожитую, бесполезную жизнь.

О ЧЁМ НЕСКОНЧАЕМЫЙ РОМАН

Андрей Георгиевич рассчитывал, что рано или поздно читатели догадаются – «Корабль королей» – это современный ковчег, на котором двести миллионов пассажиров. А то и больше. Здесь судьба свела вместе «чистых и нечистых». А ковчег – метафора, обозначение родины.

Обнять внутренним взором великую Россию, прозревать в огромной стране нечто необходимое, Андрей Георгиевич мог только в свободном состоянии. Тогда родина при всём своём богатырском облике являлась писателю незащищённым малым ребёнком, а от младенческой колыбели нельзя отлучаться ни на мгновение. Но конца романа всё нет и нет. Есть надежда – дожить до конца и самому его закончить совершенно оптимистически.

«Не одного меня перемололи жернова истории», – хладнокровно заключал Андрей Георгиевич. Но они не поколебали значительности его русской жизни, его книг. Как бы случайная авария на площади трёх вокзалов, когда он собирался отправиться поездом в Париж, – не в одноименную амстердамскую гостиницу, а в настоящий – отвела попавшему под колёса недорогой иномарки всего три дня, чтобы по-христиански проститься с близкими людьми, с жизнью, со всем тем, что было дорого и любимо.

Больше всего Стержиков жалел Карину... Непросто ей будет отдавать портрет, но отдаст и не узнает единственной тайны, которую он сумел сохранить во имя большого художника.

Она оставалась в небольшой квартире, которая только-только приобретала московский уклад. Квартире, тесно заставленной книжными шкафами... С октября по апрель две комнаты и кухня на шестом этаже заполнялись оживлённым, никогда не надоедающим звонко-весёлым синичьим теньканьем, недовольным бормотанием неизменно оживлённых воробьёв.

Однако и воробьи, и синицы паниковали совершенно напрасно: хозяйева исправно подкармливали беспокойный птичий народ: хлебные крошки, семечки, прочий корм пернатые нахлебники получали ежедневно.

А иногда Карина вывешивала за окном приличный шмат свиного сала. Тогда начинался вихревой крылатый танец. На него можно было смотреть без усталости, как на языки огня или струи водопада.

Расставался с жизнью Андрей Георгиевич и перебирался в ведомство вечности с одной возвышенно сентиментальной мыслью: «Вот они-то и заплачут, и запоют надо мной, и будут вспоминать, пока живы».

ЗАВЕЩАНИЕ

Карина, дорогая! Розовый конверт передай Александру. И если Саша попросит что-нибудь на память, отдай, Бога ради, без всякого сожаления. Квартира и без того остаётся тебе, как и право наследования на любые мои книги и рукописи, и автор-

ские права. Все подаренные нам картины и рисунки также – твоя собственность. Могут понадобиться нотариальные документы. Ты в полном праве – действуй.

Мне радостно, что ты – молода, что сможешь издать мои прозаические вещи, которые пока не опубликованы. Сможешь завершить то, что мне уже не успеть.

Прощай, и помни обо мне. Я тебя люблю...

ПОСМЕРТНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ДРУГУ

Саша! Если ты читаешь настоящее письмо, значит, на свете меня больше нет. От «Башни синих лошадей» Франца Марка до «Корабля королей» Антона Евгеньева – каждая вещь имеет право на жизнь, на то, чтобы её видели и знали. И любили...

Евгеньев – превосходный художник, от которого осталась одна картина, и она хранится под моим портретом кисти Матвея Кириллова. Попроси мой портрет на память. Карина не знает про скрытый подлинник. Ты будешь владельцем и хранителем картины, мой портрет придётся удалить. Прошу тебя сберечь «Корабль королей». Когда работа, это подлинное сокровище русского искусства, попадёт в настоящий музей, высшая цель моей жизни осуществится, и душа моя обретёт успокоение.

Живопись, книги, музыка – всё это бессмертная жизнь создателей. Она должна длиться столетиями. А если человеку Господь отвёл столь короткий жизненный срок, всё одно – за гробом он останется победителем, если осуществит хоть крупицу вечности и бессмертия.

Судьба моих книг не очень-то меня и тревожит. Пройдя типографское горнило, они перешли в бессмертное состояние: «рукописи не горят». Но представь себе, Саша, ведь одна-единственная прекрасная картина способна преобразить души тысяч и тысяч людей... миллионов... Вспомни Нику Самофракийскую, вспомни «Троицу» Андрея Рублёва!

С такими произведениями человечество не расстанется.

Отреставрировать «Корабль» Евгеньева можно с помощью Саввы Ямщикова, моего хорошего знакомого. У Савелия Васильевича мастерская в Андрониковом монастыре. Вот кому можешь довериться больше, чем самому себе. Его советы реставратора божественной категории воспринимай как истину в последней инстанции: тогда картине обеспечена безопасность и сохранность вплоть до той минуты, когда она, к бесконечной радости мира, обретёт вечное пристанище.

Савелию Васильевичу мой дружеский привет! Тебе, дорогой Саша, душевного спокойствия, любимого дела на долгие годы. Насчёт «встречи впереди» – на то не наша воля. Но как хорошо, что мы с тобой состояли в ближайшем дружестве. Не поминай лихом, верный товарищ, живи дальше...

ВИЗИТ К РЕСТАВРАТОРУ

Александрю Филипповичу, выполняющему посмертное поручение Андрея Стержикова, пришлось несколько раз наведываться в Андроников монастырь, пока удалось встретиться с Саввой Ямщиковым. Никто не мог предугадать подступающего к реставратору десятилетнего депрессивного недуга, однако беспокойно-тревожное настроение Савелия Васильевича сказалось в заметной хмурости и немногословности.

– «Корабль», по вашим словам, укрыт в надёжной гавани, – говорил Ямщиков. – Так вот, время покидать убежище не пришло – о нём даже не расспрашиваю. не

надо мне знать. Уши есть не только у стен. Объяснять долго, здесь такие тонкости – криминальные, шпионские: лучше не знать, не расстраиваться понапрасну. Скажу только – сейчас не та эпоха. Может, и близится иное, более благоприятное время... Будем верить, наберитесь терпения... Создание Антона Евгеньева берегите – редкого дара художник. Вот вам в помощь... – Савелий Васильевич невесело улыбнулся: – Вы же, наверное, с детских лет помните: «Бог терпел и нам велел!» Вот и терпите по Божьему велению. И протянул конверт.

Александр Филиппович покидал Андроников монастырь с фотографией в натуральную величину – в четверть плакатного размера – иконы конца XIV века «Спас Нерукотворный» из Успенского собора Московского Кремля. Эту чудесную, словно небесного происхождения, икону доверенный хранитель «Корабля королей» видел на реставраторском столе в монастырской мастерской, куда пришёл в сопровождении Саввы Ямщикова, и поверил в воскрешение никогда не виданного им, завещанного миру шедевра.



В мае 2018 года отмечают:

80-летие

Абдрахман АСЫЛБЕК, поэт
Толен КАУПЫНБАЕВ, прозаик

70-летие

Жумабай КАЙРАНБАЙ, прозаик

60-летие

Есберген АЛАУХАНОВ, прозаик, публицист
Жумабай КУЛИЕВ, прозаик

50-летие

Жарас САРСЕК, поэт

Редакция журнала «Простор» сердечно поздравляет юбиляров!

